

РУССКАЯ САГА

Сибирская Любовь

КРАСНАЯ ТЕТРАДЬ
книга третья

КАТЕРИНА МУРАШОВА

НАТАЛЬЯ МАЙОРОВА

Сибирская любовь

Екатерина Мурашова

Красная тетрадь

«Автор»

2015

Мурашова Е. В.

Красная тетрадь / Е. В. Мурашова — «Автор»,
2015 — (Сибирская любовь)

Роман о жизни в маленьком сибирском городке в конце 19 века, о любви и предательстве, о человеческой стойкости наперекор обстоятельствам. Полиция, жандармское управление и казаки планируют и проводят в тайге совместную, не лишенную изящества операцию по одновременному уничтожению банды Дубравина, пресечению деятельности организации политических ссыльных и выявлению распропагандированных рабочих на золотых приисках. Для обеспечения этой операции полиция использует внедренных агентов-provokatorov. Маленький городок Егорьевск полон прошлых и нынешних тайн, взаимных любовей и ненавистей. На пересечении всех этих страстей оказывается приехавший из Петербурга на прииски инженер Измайлов, бывший революционер-народоволец. В результате развития сюжетных линий Измайлов оказывается на краю гибели, но находит в себе силы не только выжить, но и предотвратить кровавые события на золотом прииске. Дневник инженера Измайлова прихотливым образом попадает в Петербург, где и превращается в новый роман петербургской писательницы и почти фольклорного персонажа для егорьевской жизни – Софи Домогатской.

© Мурашова Е. В., 2015

© Автор, 2015

Содержание

Пролог	5
Глава 1	7
Глава 2	15
Глава 3	19
Глава 4	28
Глава 5	37
Глава 6	44
Глава 7	52
Глава 8	58
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Екатерина Мурашова, Наталья Майорова

Красная тетрадь

Пролог

Тобольск, августа 25 числа, 1891 года от Р. Х.

Недавно прошел дождь. Уже холодный, не радующий, почти осенний. Широкие улицы, на них – непролазная, густая черная грязь едва ли не по колено. В центре – деревянные тротуары с обширными промоинами. Домики темные, срубленные из толстых бревен, почти сельской архитектуры. Несколько церквей, сиротливо выглядывающих в неласковое небо, покрытое еще клочьями облаков. Здание полицейского управления каменное, похоже на сложенную по случаю кучу кирпича, из озорства кое-где оштукатуренную. Крыльцо и дверь, впрочем, опрятные, с прилагающимся к ним дежурным казаком с шашкой, в шапке из черной мерлушки с красным шлыком.

Внутри полицейского управления – уже третий час идет совет. Четыре раза подавали чай, один – кофий. Тобольский полицмейстер, титулярный советник Андрей Афанасьевич Каверзин от чая весь взмок, и с удовольствием выпил бы теперь водки или хоть французского вина. Да нельзя! Представитель губернского правления – престарелый действительный статский советник Николай Степанович Знаменский, отряженный на сборище по распоряжению председателя, барона Фредерикса, тихо дремал в уголке. По его седым усам уже давно и беспрепятственно ползала жирная зеленая муха и собирала какие-то крошки. Начальник жандармского управления Николай Соломонович Грозавич и его адъютант, поручик Солтан, переглядывались с видом институток старших классов, имеющих общую сердечную тайну. Казачий есаул Николаев украдкой гонял по столу таракана, огораживая ему путь тетрадным листком, на котором изначально планировал записать указания начальства.

Прибывший из Петербурга чин давно уже зачитал собравшимся письмо генерал-майора Александрова, начальника Сибирского жандармского округа, а нынче, также смурно и невыразительно, читал другие, идущие, по его мнению, к делу, документы.

«...Всякая уступка буйной толпе есть ничто иное, как подливание масла в огонь. Подобные уступки настолько уже поколебали и пошатнули в глазах рабочих престиж местной власти, что для поддержания ее от окончательного падения, безотлагательно необходимо иметь на приисках большее число стражи против существующей, и притом хорошо вооруженной, дабы она представляла собою действительную военную силу, а не нечто в роде рассыльных, какими в большинстве являются в глазах рабочих наличные казаки. В настоящее время угрозы, а иногда и сопротивление открытою силою со стороны рабочих, при требовании от них выдачи зачинщиков и преступников, сделались обыкновенными явлениями...»

– Вот так, господа, выглядит сегодняшняя ситуация со стороны частного золотопромышленника...

– И что же все-таки предлагается в связи с этим, я не понял? – спросил Иван Глебович Виноградский, ишимский уездный исправник. – Какую связь видят в губернии (или даже в столице?) между деятельностью разбойных банд, волнениями на приисках и активностью политических ссыльных? К чему нас собрали здесь всех вместе?

– А я совершенно согласен! – откровенно нарушая субординацию, вскочил импульсивный поручик Солтан. – При нынешнем положении дел из ссылки и даже с каторги не бежит только ленивый, тот, кому не надо. Это все знают и закрывают на то глаза. Ссыльные политические бунтари у нас под носом создали свой особый, обратный этап, по которому почти бес-

препятственно переправляют своих товарищей в Россию, а после – за границу. Разве это дело? А охранное отделение все чего-то выжидает...

– Время ожидания окончилось, поручик, – весело уронил приезжий чин. – Сядьте!... А вы все, господа, слушайте меня внимательно. Распоряжением из самых верхов (сухой палец указал в порядочно закопченный потолок) в губернии, а еще точнее в Ишимском уезде, планируется провести уникальную операцию, в которой будут совместно задействованы жандармские, полицейские и войсковые, то есть казачьи подразделения.

– Что следует от казаков? – оживился Николаев, отвлекшись на миг от своего занятия. Таракан моментально воспользовался оплошкой есаула и сбежал под стол.

– Казаки будут задействованы на самом последнем этапе. В деле окончательной ликвидации разбойничьей банды.

– Дело! Давно пора, – одобрил Николаев, оглядываясь в поисках сбежавшего арестанта.

– Непосредственная подготовка операции, как я понимаю, ложится на уездную полицию? – спросил Иван Глебович.

Приезжий чин кивнул.

– Чтобы все прошло гладко, нам понадобятся внедренные агенты, – заметил Каверзин. – Как у вас с этим? – он оборотился к Грозавичу. – Среди политических отыскать паршивую овцу нетрудно, но вот чтобы ему еще можно было доверять... то есть хотя бы быть уверенным, что он в решительный момент не перекинется обратно...

– По сусекам поскребем и отыщем потребного человечка, – ласково улыбнулся Грозавич. От его улыбки большинству присутствующих отчего-то стало не по себе.

– А теперь господа, давайте обсудим подробности и составим конкретный план действий. Так сказать, тактика грядущего боя... – сказал приезжий чин, придвигаясь к столу. Стул противно заскрипел. От громкого неожиданного скрипа проснулся старик Знаменский.

– Кавалерия, вперед! Шашки наголо, коли направо! – негромко, но внятно скомандовал он, услышав военные термины и, по-видимому, вспоминая Крымскую кампанию. Из уважения к боевым заслугам ветерана никто из присутствующих не засмеялся.

Глава 1

В которой разбойники творят злые дела, раненный инженер Измайлов поет вольные песни, а таежная насельница Надя спасает ему жизнь

В широко раскрытых глазах убитого казака отражалось небо. Должно быть, пуля попала ему в спину, и никаких внешних повреждений не было видно. Как будто бы просто лежит человек на опавших листьях и хвое, раскинув руки, и любит мирозданием. Только какие-то мелкие соринки на роговице показывали, что ничем он уже не любит, и любоваться никогда не сможет. Разве что райскими садами. Да и то – вряд ли.

Кого-то из беглых шумно рвало за празднично ярким по осеннему времени кустом бересклета. Может быть, признал в одном из убитых сослуживца или даже душевного приятеля. А может, просто физический склад организма таков.

Высокий, складно и чисто одетый человек выпрямился и постучал рукояткой нагайки по голенищу, сбивая несуществующую грязь.

– Деньги, папку с бумагами и какие найдете ценности – на Южную заимку. Оружие, что в карманах завалялось и одежду, коли пожелаете, – между собой, – негромко распорядился он, не оборачиваясь и зная, что кто-то позади непременно услышит и проследит за должным выполнением приказа атамана.

Откуда-то из подлеска неожиданно вылетел выводок лазоревок. Синички, нимало не чураясь человека и бодро посвистывая, обежали ствол огромной лиственницы, потом одна из них, повиснув вниз головой, поклевала шишку едва ли не на расстоянии вытянутой руки от его лица. Покосилась лукавым глазком-ягодкой и весело цвиркнула.

– Не боишься, значит? – задумчиво спросил лазоревку человек.

– Ни-чуть! – ответила синичка и вслед за братьями и сестрами перелетела на соседнее дерево, где кто-то из них отыскал вкусных, прячущихся в трещинах коры червячков.

– Сергей Алексеевич! – послышалось из леса и, перебирая короткими ногами, подбежал человек с незначительным лицом и странными, смятыми и изуродованными с верхушек ушами. При взгляде на него создавалось полное впечатление, что на ушах человека, используя их в качестве подставок, долго стояла тяжелая, наподобие каминной, полка. – Там – следы, кровь. Один, похоже, все-таки ушел.

– Догнать и прикончить! – безжалостно приказал тот, кого называли Сергеем Алексеевичем. – Черт его знает, что он успел услышать и понять. Нельзя нам. Раз кровь, значит – далеко не уйдет.Пусти по следу обоих самоедов, они лучше всяких собак...

– Уже пошли!

– Ладно... А кто ж это ушел-то? Как ты полагаешь?

– Никого не должно. Все здесь. Однако, из косвенных данных полагаю, что инженер. Он... – человек с ушами не договорил и попросту захлебнулся своей незаконченной репликой.

Потому что Сергей Алексеевич вдруг странно искривился лицом и начал громко и визгливо хохотать. Тряся головой, икая, ударяя себя ладонями по коленям и едва ли не приплясывая. Причина его внезапного и жутковатого веселья никому не была известна.

От неожиданности вся деятельность на небольшой полянке замерла. Приближенные атамана некоторое время наблюдали за главарем и, не решаясь приблизиться, пытались сообразить, что произошло. Только один мужик, неестественно крупный и заросший до глаз бородой, сразу догадался, что это – истерика. Видимо припадая на правую ногу, он подошел вплотную к Сергею Алексеевичу (сразу оказавшись выше того едва ли не на голову), поплевал на ладонь

и в четверть силы закатал ему оплеуху. Ужасный смех сразу прекратился. В серо-голубых глазах атамана блеснул бесноватый, обжигающий пламень. Члены шайки попятились в разные стороны, но... ничего не произошло.

Заросший мужик пробормотал что-то себе под нос. Окружающие уловили лишь два начальных слова: «Будет, Митя...». Сергей Алексеевич больше не смеялся, но на его устах медленно проявлялась странная улыбка – лиловый цветок, распускающийся на чертополохе.

В переплетении колючих плетей ежевики крохотный бочажок с водой казался чудным ведьминским зеркальцем, оброненным на землю с пролетающей мимо ступы. Немилосердно царапая лоб и щеки, человек просунул голову к бочажку и разом погрузил горящее, воспаленное лицо в восхитительно холодную воду. Первый миг казалось, что сейчас разорвется работающее на пределе сердце. Потом наступило расслабляющее волю блаженство. И то, и другое было одинаково опасным, но человек медлил, не в силах приступить к потребным делам. По угольно черной поверхности воды расплывались ржавые потеки крови.

Чуток отдохнув, он, кряхтя и нелепо дергаясь, умыл лицо и шею, вытер руки кукушкиным льном и стал раздеваться. Стянув рубаху, изогнулся и осмотрел себя. Рана в боку выглядела очень нехорошо, хотя кровотечение уже почти остановилось. Да что там обманывать себя: препоганейше она выглядела, можно даже сказать, совершенно безнадёжно, учитывая тайгу, начинающийся дождь и прочее. Можно было бы и не колупаться дальше, не мучить себя, просто прилечь тут у бочажка, поудобнее пристроить раненный бок и отдохнуть... В последний раз.

Видимо, он провалился в забытие, потому что не помнил, откуда она взялась. Когда он открыл глаза, она уже стояла на другой стороне бочажка и рассматривала его. Лисичка, небольшая, ладно скроенная, с густым темно-оранжевым мехом цвета осенней листвы. Если бы не внимательный весомый взгляд черных глаз, он мог бы ее и не заметить. Когда человек шевельнулся и застонал, она сделала шаг назад, в глазах возникла настороженность. Еще несколько минут неподвижности, оба никуда не торопились. Зверушка слегка поворачивала остrokонечные, бархатные даже на вид ушки и, принохиваясь, забавно шевелила темным кожаным носиком. Потом лисичка сделала свои выводы относительно него, он прочел их на ее мордочке-лице и заплакал от слабости и жалости к себе. Падаль! Не теперь, так скоро. Никакого интереса. Настороженность сменилась великолепным равнодушием. Перед уходом зверек припал на передние лапы, раскрыл розовую пасть с мелкими зубками-кинжальчиками и зевнул прямо ему в лицо. Мокрые кусты сомкнулись, и только ослепительно белый кончик хвоста мелькнул в пестроте осенней таежной подстилки.

Какое-то время человек лежал и замерзал посреди шуршания стылого дождя.

Потом, ругаясь сквозь стиснутые зубы, заворочался и промыл рану обжигающе холодной водой. Боль из тупой стала режущей и острой, но в голове сразу как-то прояснело. Он натянул заскорузлую от крови рубаху, с трудом просунул руки в рукава шинели. Мысленно в чем-то не согласился с лисичкой, поблагодарил бочажок и попытался встать. Упал три или четыре раза, каждый раз теряя сознание от боли и снова приходя в себя. Потом встал на четвереньки и пошел прочь, синхронно переставляя ладонь и колено. «Кажется, это называется иноходью,» – вспомнил он и прихотливым ходом мысли увидел в этом воспоминании какую-то надежду. Никаких представлений о направлении у него не было. В затуманенном мозгу плавало лишь абстрактное знание о том, что, пока он движется, он может куда-то прийти.

К ночи поднялся ветер и разогнал тучи. Сразу же вызвездило и вслед за тем резко похолодало. Желтая луна освещала тайгу, черные листья падали с тревожным шелестом, как хлопья мокрой сажи. Он продолжал идти на четвереньках и считал про себя: «раз, два, раз, два». Откуда он идет и зачем, он позабыл совершенно. К утру на почву пал заморозок. Опавшие листья стали хрустеть под ладонями и коленями, которые уже ничего не чувствовали.

Он был зрелым человеком с сильной волей и шел, а потом полз, не останавливаясь, всю ночь. Это спасло ему жизнь.

– Кто вы? Кто вы, ответьте?!

Он с трудом разлепил не то склеившиеся от гноя, не то просто смерзшиеся ресницы и увидел ее. Она стояла в трех шагах от него, смотрела с любопытством и опасливой настороженностью. Не приближалась.

В первый момент ему показалось, что это лисичка перекинулась по обычаю таежных оборотней и стала невысокой худенькой женщиной в штанах и кожаной куртке. «Нет, не может быть, тогда она была бы рыжей,» – рассудительно сказал он сам себе. У женщины были темные, коротко подстриженные волосы.

Сразу вслед за этим вспыхнула надежда, выбросила в кровь какие-то последние, резервные силы и вернула ему способность рассуждать практически здраво.

Она меня боится! – легко догадался он. Немудрено, ведь моя рана ей не видна, и она не знает, насколько я слаб и ни на что не способен. Она здесь, по-видимому, одна, ничего не знает о нападении разбойников и видит перед собой бородатого растерзанного мужика, неизвестно откуда взявшегося. Но кто она? Одета как самоедка, мешок, темные волосы, но черты лица совершенно европейские. Что она делает в тайге одна?

– Я ранен, – он хотел произнести это спокойно и четко, но тот хрип, который, извиваясь, выполз из его растрескавшихся губ, показался маловразумительным даже ему самому. – Там... многих убили... меня хотели добить. Я сбил их со следа, спрятался. Потом шел... полз...

– Вы – разбойник? Каторжник? – резко спросила женщина. Ее голос был похож на голос какой-то птицы. – Вас хотели убить – кто? Поселенцы? Рабочие? Казаки?

Понимая, что ближайшие минуты решают все в остатке его жизни, он собрался, как мог. Он понимал ее вопросы и должен был немедленно ответить на них так, чтобы эта непонятная таежная женщина поверила ему сейчас, сразу. Никакой проволоочки его тело, из которого по каплям утекала жизнь, просто не вынесет.

Он вспомнил то, что читал о Сибири в статистических сводках, рассказы, которые слышал уже по дороге сюда, строгие изучающие взгляды жителей притрактовых сел, оружие, которое, не прячась, хранилось в избах едва ли не напоказ. Крестьяне и сибирские поселенцы вели необъявленную, но постоянную, жестокую и кровавую войну за свое собственное выживание. За материальный достаток и здравый рассудок. В литературе, которую он читал, народную культуру и философскую мысль Сибири обвиняли в бедности и примитивизме. Смешно, ей-богу! 200 лет сибирской ссылки сделали свое дело. Кроме политических и административно-ссыльных, с которыми в Сибирь как раз и попадали культурные и образовательные идеи, по сибирским дорогам скиталось огромное количество (по некоторым данным, до 50 тысяч одновременно) лихих, озлобленных, потерявших себя людей. Разбойники всех мастей, беглые каторжники, случайные потомки сломленных когда-то судеб, не получившие в семье ни нравственного, ни какого либо другого воспитания. Все они не умели и не хотели трудиться, но желали есть, пить, одеваться, иметь какое-либо пристанище. Грабежи, убийство, насилие были буднями их жизни. Понятно, что сибирские поселенцы не испытывали к подобным людям ни малейшей жалости или приязни и при возможности расправлялись с ними со звериной жестокостью, ничуть не уступающей их собственной. Не видя иной возможности выжить, беглые каторжники и лихие люди сбивались в практически неуловимые банды и шайки, которые имели убежища в тайге и годами наводили ужас на территории, сравнимые по площади с иной европейской страной. Этот замкнутый трагический круг не могли разорвать ни постоянно ужесточающиеся законы, ни расквартированные в городах и селах казацкие войска. Тайга – закон, медведь – прокурор... И каждый год, неустанно, в Сибирь прибывали новые партии каторжников и ссыльных. Европейская Россия прилежно избавлялась от неудобных,

и ей, казалось, не было и по сей день нет никакого дела до того, как именно окраина империи пережует и ассимилирует этот поток инакомыслящих, злодеев и просто человеческих отбросов, сливаемых в бездонный дымящийся котел бескрайних лесов и болот, едва прикрытый крышкой вечного и равнодушного неба...

«Тайга – не вечерний бульвар. Здесь нет случайных людей. Она не знает меня и полагает одним из недобитых злодеев... – подумал он. – Я должен переубедить ее... Но как это сделать? Ведь весь мой багаж и документы остались там... или украдены...»

В глазах таежной насельницы – то же слегка настороженное пренебрежение и равнодушие к его судьбе, которые он уже где-то видел. Недавно... Лисичка! Нет! Плакать нельзя! Это отнимет последние силы и окончательно лишит возможности объяснить ей...

– Я – не каторжник и не разбойник. Я – инженер из Петербурга. Моя фамилия Измайлов. Андрей Андреевич Измайлов. Те, кто на нас напал... Я не знаю, кто они, но их главаря называли Сергей Алексеевич. Верьте мне! Иначе я умру прямо сейчас, и вам потом неловко будет...

– Андрей Андреевич Измайлов?! – изумленно воскликнула женщина и невольно сделала шаг вперед, к нему. Мужчина выдохнул и мысленно поманил ее пальцем: «Ближе, ближе, не бойся!» – Я слышала, знаю, что Машенька... Мария Ивановна Опалинская к вам писала. И вы ей... Но из вашего же письма... Вы должны были позже прибыть, по зимнему тракту... А теперь... У вас есть документы?

Он отрицательно помотал головой.

– Вы меня обмануть хотите! – решительно заявила женщина, снова отходя к сосне, которая и прежде давала опору ее напряженной спине. – Вы слышали откуда-то про Измайлова, и теперь мне себя за него выдаете, чтоб я помогла вам...

Ну разумеется! Несмотря на самоедскую одежду и одинокие прогулки по тайге, у нее лицо образованного человека. Она даже знает Марию Ивановну Опалинскую и осведомлена о содержании ее переписки. Какая неудача! Возможно, настоящая самоедка поверила бы ему скорее...

– Я – Измайлов, – тихо сказал он, понутив голову и уже почти не надеясь. Все равно. Даже если он сейчас расскажет ей самую что ни на есть правду, причину своего раннего прибытия сюда он не сумеет объяснить. А если вдруг и сумеет, это лишь еще больше оттолкнет ее.

– Но почему же вы здесь? Сейчас? Без письма? – настойчиво спросила женщина, вновь приближаясь и пытаясь заглянуть в его опущенное лицо. Кажется, теперь, когда надежда больше не поддерживала его физические силы, она, наконец, осознала действительную тяжесть состояния раненного.

– Я должен был уехать внезапно, – тихо, без выражения сказал он. Силы стремительно уходили. – Письма идут слишком долго. Можно сказать, я бежал. Прошное не отпускает. Я действительно инженер, и хотел уехать в Сибирь, что бы оставить это. Но... мне пришлось... Если бы я не уехал, оказался бы в Петропавловской крепости. Или здесь же, но уже... в другом качестве... Может быть, это было бы к лучшему, знак... Мог бы продолжать жить, бороться...

– Вы – революционер?!! – бесстрастное до сей поры лицо женщины опрокинулось. – Вы бежали сюда от фараонов?

– Я бежал сюда от своих товарищей, – вздохнул он. – Мне много лет. Революция и все такое прочее – для молодых. Я хотел просто пожить, работать по специальности. Но не успел...

Женщина повела подбородком, словно отметая его последние слова.

«Ей нравятся революционеры?» – слабо изумился он. – Вот напасть!»

Неожиданно женщина негромко и довольно фальшиво запела:

– «Стонет и тяжело вздыхает,
Бедный забитый народ,
Руки он к нам протирает,

Нас он на помощь зовет...»

«Что это она, с ума сошла, что ли? Или у меня уже бред? Нет, ну что за судьба?! Бежать от всего этого, забраться в самую глубину тайги, почти умереть, случайно повстречать переодетую самоедкой женщину, и вдруг она ни с того ни с сего начинает петь вольные песни, которые и мы певали, когда-то, в молодости... Да она же меня проверяет! – вдруг, вспышкой в мозгу сообразил он. – Проверяет, правду ли я ей про себя сказал. Значит, я должен...»

Петь он в своем нынешнем состоянии не мог категорически. Поэтому заговорил речитативом, с трудом проталкивая слова сквозь запекшиеся губы:

– «Час обновления настанет,
Воли добьется народ,
Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придет.
Если погибнуть придется,
В тюрьмах и шахтах сырых,
Дело, друзья, отзовется,
На поколениях живых...»

Поведение женщины изменилось так быстро и разительно, что он со своей замедленной болезнью реакцией не успел отследить происходящее и даже слегка испугался. Вдруг она все-таки сумасшедшая?

– Все, молчите, вам нельзя разговаривать! Повернитесь! Дайте, я расстегну! Молчите! Выпейте вот это!

Потом он решил подчиняться всему, все равно другого выхода у него не было. Подчиняться, не ломать больше волей бессильное, трясущееся в омерзительном ознобе тело – что может быть лучше? Спокойнее? Приятнее...

– Нет! Не уходите туда! Держитесь здесь! Выпейте еще! Если вы потеряете сознание, я не смогу вам помочь! Вы слишком тяжелый! Как вас там, – Измайлов? Андрей Андреевич! Проснитесь же, не засыпайте! Если я сейчас изо всех сил побегу на прииск за подмогой, то не раньше утра... Вы мокрый насквозь, в крови, у вас уже лихорадка началась. Некого будет спасать... Значит, так, я решила. Здесь есть зимовье, в котором я ночую, когда в лесу. Там очаг, родник, травы. До него – чуть больше полверсты. Мы с вами должны дойти. Слышите?! Сейчас пойдем. Прямо сейчас! Попробуйте приподняться, я вас поддержу... Еще, еще, вот так, помаленьку, полегоньку... Не бойтесь на меня опереться, я только на вид маленькая, а вообще-то крепкая очень... Зимой-то я бы вас на елке-волокуше свезла, а теперь... Впрочем, зимой-то вы уж замерзли бы давно...

Пути до зимовья он не помнил совершенно, и так и не вспомнил никогда. Милосердие нашей памяти. Его спутница тоже ничего не стала рассказывать, хотя сама после вспоминала и даже переживала еще не раз в кошмарных снах. Для него, после уговоров, сразу – закопченный потолок, мокрая тряпица на лбу, тяжелые меховые одеяла и мелкий раздражающий перестук, как стучат вагоны на стыке рельсов. «Отчего ж я на поезде, по железной дороге не поехал?» – успел удивиться он и тут же сообразил, что никакой железной дороги в тайге нет, а близкий перестук выдают его собственные зубы.

Заметив, что он очнулся, к нему подошла давешняя женщина, присела на лежанку, поменяла нагретую тряпицу на свежую, глянула серьезно, без улыбки.

– Вы меня понимаете сейчас? Помните, что с вами случилось?

– Безусловно, понимаю. И помню. Все, кроме последней дороги. Как вас зовут?

– Меня зовут Надежда Левонтьевна. Можно просто Надя. Вы – Андрей Андреевич Измайлов. Я пока стану называть вас Андреем, для простоты. У нас здесь по-простому... Слушайте теперь внимательно, потому что это до вас касается. Я промыла вам рану, Андрей, пока вы без памяти были, приложила мазь... Но пуля осталась внутри, и воспаление идет...

Он вдруг сообразил, что лежит под одеялами совершенно голый, только на боку и бедрах – повязка. Ему стало неловко, что она, совершенно незнакомая ему женщина, видела его беспмятное тело, раздевала его, ворочала. Что еще она видела, что делала с ним? Он никогда в жизни не болел ничем, кроме ангины и поноса, и не принимал интимного ухода. Теперь же представившиеся картины буквально растоптали его самолюбие. Господи! Какая гадость! Не лучше ли было бы сдохнуть там, в тайге? Он болезненно поморщился, закусил губу.

– Конечно, болит, – кивнула Надежда Левонтьевна, неправильно истолковав его гримасу. – Вот я и говорю, надо решать, и скорее. Либо мне сейчас вас здесь оставить и за помощью бежать, либо своими силами. Давайте теперь считать. Туда я добегу напрямки быстро. Положим, в тот же час выедем. Но... фельдшер на прииске всегда пьяный, ему доверия нет. Доктор Пичугин в Егорьевске. Самоедских трав он не признает. Стало быть, еще дорога туда, да обратно... Не выйдет ничего... Не дождетесь вы нас, любезный Андрей Андреевич, или я ничего в лихорадках не понимаю...

– Что ж вы предлагаете? Привезти вместо доктора сразу попа? – он нашел в себе силы усмехнуться.

Достойный уход много значил в системе их коллективных юношеских ценностей. Когда был совсем молодой, он даже придумал и записал на бумажке свою последнюю речь, которую скажет перед казнью. Долго таскал с собой, когда перечитывал, каждый раз на глаза наворачивались слезы. Потом бумажка куда-то затерялась...

– Я предлагаю достать пулю и вычистить рану здесь, в зимовье, – сказала Надежда Левонтьевна и слегка побледнела. – Возможно, в этом случае удастся остановить воспаление. Сами понимаете, я ничего не могу обещать наверняка, но шанс есть...

– Кто ж это сделает? Вы? Вы – врач? Может быть, ветеринар? Лечите самоедских оленей?

Он продолжал острить, чтобы удержать стон и заглушить режущий ужас, выгрызающий воспаленные внутренности. Пуля осталась в ране. Началось нагноение. Помощь из Егорьевска не успеет. Он умрет в муках здесь, на глазах у этой темноволосой, отважной женщины. Прежде, чем он умрет, он окончательно потеряет человеческий облик, будет выть от боли и гадить под себя. Впрочем, то, что она предлагает, может стать немедленным выходом, так как наверняка прикончит его быстрее, чем...

– Я согласен! – быстро сказал он. – Не объясняйте ничего. Делайте то, что сочтете нужным!

Она услышала в его словах просьбу, но решительно не могла ей следовать. Она готова была объяснять и хотела этого.

– Я закончила акушерские курсы. Работала в больнице, в Екатеринбурге. Я не боюсь крови и всего такого. Я с детства помогала матери в амбулатории. Моя мать держала амбулаторию для бедных. Я изучаю медицину киргизов, остяков и других таежных народов. Мне кажется, европейская медицина недооценивает возможности фитотерапии. Я хотела бы посетить Монголию и Китай. Там древние медицинские традиции...

Может быть, она говорила не столько для него, сколько для себя. Он понял это, так же как и то, что ей никогда не доводилось доставать пулю из плоти живого человека. В сущности, все это уже было ему безразлично, но он слушал и не перебивал ее, давая ей выговориться и получить облегчение. Ей тоже страшно, а ведь она женщина, берет на себя ответственность и еще так молода...

– Надя, у вас есть какая-нибудь трава, вызывающая одурманивание? – спросил он, когда она замолчала. – Я слышал, бывают такие...

– Да, я уже заварила. На всякий случай. Чтобы не терять времени. Болиголов и еще два корешка. Действует слабее, чем опий, но все же...

– Хорошо. Что я должен делать?

– Ничего. Когда я все приготовлю, надо будет залезть на стол и... Постарайтесь поменьше дергаться и не отталкивать меня. Я привяжу вас к столу ремнями, но все равно... Мне вас не удержать... Можете ругать меня, как угодно. Любыми словами. Это мне совершенно не мешает.

– Понятно, – процедил он сквозь зубы. Об этой стороне дела он просто не подумал. – Я постараюсь. Но болиголова в таком случае не надо. Если я буду не в себе, то...

– Но болевой шок... – начала она.

«Это именно то, что надо!» – подумал он, улыбнулся и сказал вслух:

– Я попытаюсь справиться. Революционер должен уметь терпеть боль.

К его удивлению, она согласно и совершенно серьезно кивнула, принимая аргумент.

«Дура? – подумал он. – Да нет, вроде, не похоже. Тогда – что? Жаль, так и не узнаю...»

– Хорошо, – сказала она. – А теперь выпейте вот это и лежите по возможности тихо. Не отвлекайте меня, чтобы я чего-нибудь не забыла. Мне надо все предусмотреть, потому что потом, по ходу дела некому будет... Да, перед началом всего вам надо будет пописать. Хорошо было бы сделать клизму, но я не представляю, как... Ладно. Подумаю. Сейчас я дам вам посудину, она, кажется, подойдет, чтобы по-маленькому. Если не сумеете сами, скажите, не стесняйтесь, я помогу...

Измайлов кивнул, зажмурился и три раза повторил про себя: «Скоро все кончится! Вообще все!»

По убеждениям он был атеистом и не верил в потустороннюю жизнь, хотя и носил по привычке крестик, оставшийся от умершей матери, но если он и ошибается, то все равно... Все, что он когда-либо слышал или читал, говорило за то, что даже в аду не предусмотрено клизм и прочей им подобной пакости...

Когда пришла пора лечь на стол, он был унижен изобретательной Надей всеми возможными способами, его мужское и человеческое достоинство окончательно погибло, а на его место внезапно пришло какое-то полностью отрешенное спокойствие, каковое, наверное, и свойственно умирающим. Все вдруг показалось неважным и почти смешным. Прежде, чем подставить руки под жесткие сыромятные ремни, он даже сумел поднести к губам ее маленькую, но сильную и шершавую как у крестьянки кисть. Она ощутимо сопротивлялась, а он был слаб, поэтому поцелуй пришелся куда-то выше запястья.

– Спасибо вам, Надя, за попытку. И давайте на всякий случай попросимся.

– Не мелите ерунды! – отрезала она и грубо выдернула свою руку из его пальцев.

Он успел заметить узенькое обручальное кольцо на безымянном пальце и уже в который раз удивился ей. Она замужем? И что же это за муж, который позволяет жене разгуливать в одиночку по тайге? Самоед-охотник? Но как же так вышло, ведь она училась и работала в Екатеринбурге?... И этого я уже не узнаю, – с непонятным ему самому смирением подумал он.

– И вы, и я должны думать, что все будет хорошо. Это – часть лечения, – чуть мягче заметила Надежда Левонтьевна. – Повернитесь чуть-чуть набок, так мне будет легче достать. И сдвиньте лодыжки. Вот так, отлично... И не бойтесь, пожалуйста...

«Я сама боюсь!» – мысленно продолжил он и едва удержался от смеха. Она взглянула на него с удивлением, расширившимися темными глазами, и сунула ему в губы небольшую, гладко обточенную чурочку. Он покорно вцепился в деревяшку зубами, решившись ни в чем более не противиться ей.

В процессе операции он не терял сознания ни на минуту, хотя не раз, позабыв о приобретенном в мятежной юности атеизме, готов был по-детски молиться Богу о мгновении милосердного забытья.

Когда все кончилось, Надя выполоскала тряпку в холодной воде, обтерла ему лицо, шею и грудь, а потом вдруг разом куда-то исчезла. Он глядел в черный, бревенчатый потолок, чувствовал невероятное облегчение от прекращения жуткой, терзающей боли и ждал какой-нибудь звук, который позволит определить происходящее: стук закрывающейся двери (пошла подышать свежим воздухом); плеск воды (моет испачканные в его крови руки); скрип лежанки и шуршание шкур на ней (прилегла отдохнуть). Ничего не происходило. Он осторожно повернул голову набок и сразу же увидел ее: она сидела на полу прямо у стола, раскинув в стороны ноги и опираясь на руки. Ее короткие густые волосы занавешивали лицо. На мгновение ему показалось, что она уснула в этой диковинной позе, в которой любят проводить время только что научившиеся сидеть младенцы.

– Надя! – тихо и осторожно позвал он. – Надя, что с вами?

Она медленно подняла лицо и ее очи, с дико расширившимися зрачками, встретились с его взглядом. Он привычно растянул губы в улыбке и, старательно вспомнив, как это делается, подмигнул ей правым глазом.

Тогда она последовательно проделала следующее: зарыдала, вскочила, прижалась мокрым лицом к его голой груди, поцеловала его в губы и глаза, бросилась к лежанке и прямо на столе накрыла его до подбородка одеялом, высморкалась в испачканную его кровью тряпку, попыталась напиться из ковша, но из-за дрожи в руке пролила всю воду себе на грудь. Все это время он старательно удерживал улыбку.

Наконец, она слегка пришла в себя и улыбнулась в ответ дрожащей, робкой, не похожей на нее улыбкой. Потом разжала кулак, который все это время держала сжатым и показала ему маленький, сплюснутый металлический кусочек.

– Вы – молодец! – прошептал он. – Я и не думал...

– Вы тоже молодец! – горячо сказала она. – Если бы вы не помогли мне, я бы не сумела...

Что именно она не сумела бы сделать, он уже не услышал, так как заснул.

Глава 2

В которой егорьевцы охотятся, а Дмитрий Михайлович Опалинский встречается с незнакомцем

Осень еще только вступила в свои права, и зеленый цвет не изгнан окончательно из лесных одежд. Но уже как-то навалилось на землю тяжелое предзимье, разом погасив и летнюю живость, и те неопределенные надежды, которые будит в чувствительных сердцах первая россыпь яркого осеннего золота. В мелких Березуевских разливах суетились, квохтали, готовились к отлету птичьи полчища. Камыши шуршали сухо и обреченно. Вода меняла цвет с темно-зеленого на свинцово-серый, цвет осени и холода.

Осенью в Егорьевске развлечение – большая утиная охота.

Охотники по обычаю собираются накануне у дома Гордеева. В конюшне, на коновязи нет мест. Конюх Игнат сбился с ног и охрип. Кто-то привязал свою старую кобылу с улицы к ограде и теперь она там волнуется, чувствует себя обманутой, ржет, месит грязь копытами и тянет жилистую шею, чтобы разглядеть, что делается во дворе за оградой, где собралось их, лошадиное общество.

У людей бесконечная, но кажущаяся крайне важной суэта: пакуют и снова разбирают корзины, мешки и саквояжи, проверяют и укладывают ружья в чехлы. Рассматривают охотничьи костюмы. Сравнивают патроны, оружие, ведут разговор, неотделимый от ощущения охоты, бессвязный и мудрый. Случайным, но достаточно образованным наблюдателям (их всего двое) кажется, что вот-вот начнут рисовать охрой на стенах охотничьи сценки и метать в них копье, как древние троглодиты. Горничная Анисья безостановочно разносит среди гостей клюквенный квас. Солнечные лучи ползают по стенам второго этажа, но уже не спускаются во двор. Вечер прозрачен, как стакан с водой.

Собак переполняет возбуждение, они крутятся у всех под ногами и поскуливают. Забегают во все подсобные помещения, куда могут проникнуть и везде задирают лапу. Кажется, что параллельно с людским происходит еще и собачье нашествие, имеющее какую-то свою, особую цель. Мефодий, главный над дворней, видит все это безобразие и ворчит себе под нос. Маленький сынишка конюха Игната приманил к себе приглянувшуюся ему, породистую псину и кормит ее на пороге сенника обкрошившейся булкой. Голодная собака жадно ест, переступая лапами, крутит обрубок хвоста и нервно тычется мордой в лицо мальчишки, заставляя того хохотать от восторга. Хозяин псины замечает это безобразие, хватается ребенка, трясет и орет на него так, что со стропил сыплется труха. Маленькие грязные пятки молотят воздух, от страха мальчишка потерял голос. Мефодий осторожно, но твердо высвобождает ребенка из рук гостя и терпеливо объясняет ему, что мальчишке всего четыре годика, он плохо говорит и уж никак не может знать, что перед охотой собак кормить нельзя.

На втором этаже, в покоях, убранных в зеленых тонах, уже горит лампа, но пылинки еще кружатся в угасающем, пробивающемся сквозь шторы солнечном луче.

– Петя, это все обязательно? Весь этот шурум-бурум? Почему бы всем этим людям не поехать на охоту по отдельности и не встретиться уже там, на разливах? Путь недалек... Или вообще сравнить добычу по окончании охоты?

Невысокая, сильно сбитая женщина стоит перед братом, уперев кулак в бедро. Брат много выше ее, улыбается скользящей улыбкой. По его повадке она видит, что он не пьян по-настоящему, но уж где-то приложился. И, пожалуй, не раз. Лучше всего говорит застарелый запах. «И как Элайдже с ним не противно?!» – привычно и почти равнодушно удивляется женщина. На самом деле удивления нет вообще, есть усталость, маскируемая много раз обсосанными размышлениями.

– Это обычай, Машка, ну как ты не понимаешь? – говорит брат, вроде бы по форме оправдываясь. Впрочем, в его голосе тоже нет и намека на какие бы то ни было чувства. Кажется, что оба, едва скрывая скуку, танцуют придворный механический танец из 18 века. – Это же еще при отце так было. Каждый год. А я... Что ж мне нарушать, если я охоту люблю и в этом деле понимаю?

– Кроме охоты, при отце много чего было. В том числе куда более дельного. Отчего ты про это не вспомнишь? – пыльным голосом говорит женщина, которую брат назвал Машкой. – Отчего не поможешь мне, нам?

– Опять снова-здорово! – в голосе Пети прорывается подлинное страдание. – Ну зачем сейчас, Маша? Я должен прогнать людей и прямо вот теперь засесть за амбарные книги? Я знаю! Ты нарочно это говоришь, чтобы испортить мне все удовольствие. Ты знаешь, это, может, одно время в году, когда я могу быть... ну, весел, или хоть сказать – счастлив... Это просто подло, в конце концов, Машка!

– Подло-о?! – с бледных губ женщины срывается почти змеиное шипение.

Петя мигом надевает на узкое лицо скупающее выражение, готовясь перенести сто раз слышанную отповедь. Но Маша молчит, потом говорит медленно, словно сама себе:

– Люди Черного Атамана на Гнилом тракте убили пятерых казаков, отбили троих арестованных рабочих, которых в Тобольск везли. Забрали бумаги, деньги...

– Бред какой-то! – наигранно возмущился Петя, радуясь, что разговор отошел от его привычек. – Что Черному Атаману до каких-то рабочих? Кто они?

– Июньская стачка на Мартыновском заводе, зачинщики. Ничего. Я думаю, это у него такие представления о справедливости.

– Пять жизней за троих арестантов, которых казаки и конвоировали-то по долгу службы? Он сумасшедший, я тебе давно говорил!

– Возможно, жизней было шесть, и это для нас самое важное.

– В каком смысле?

– Я получила письмо от Измайлова, с дороги.

– Измайлов, инженер? Почему с дороги? Я помню: он должен приехать к Рождеству... Сестра, я тебя Христом-богом молю! Мы не могли бы теперь все это отложить до окончания охоты? Ну дай ты мне хоть раз в год вдохнуть полной грудью без всяких этих... А потом я...

– Измайлов по каким-то своим личным причинам выехал раньше. Не успел написать до отъезда, писал уже здесь, из Екатеринбурга. У меня есть основания полагать, что он присоединился к тем казакам, на которых напали...

– То есть, его тоже убили? Нашли труп? Ну что за напасть! – Петя в сердцах ударил кулаком по жесткой ладони.

– Я не знаю, Петя, я ничего не знаю. Тело вроде бы не нашли. Но был кровавый след, ведущий в болото... и прошла уже почти неделя... Я чувствую, что он был там! Это просто какой-то кошмарный сон...

– Разумеется, сон! – Петя неожиданно разозлился, а может быть, просто его опьянение перешло в какую-то иную стадию. – И не находишь ли ты, что это именно твой сон? Твой и твоего мужа? Черный Атаман – Сергей Алексеевич Дубравин – ваш общий... на двоих... кошмарный сон! А я не имею... к этому... абсолютно никакого отношения!

Петя говорил, четко отделяя одно слово от другого, и цепко, совершенно трезво вглядываясь в лицо сестры. Потом повернулся на каблуках и вышел. Женщина тихо и безнадежно заплакала. Во всем огромном мире не было никого, кто мог бы ее утешить.

Плоскодонные лодки с низкими бортами плывут среди камышей, вдоль узких протоков. Иногда впереди вдруг открываются обширные заводи. Вдалеке выводок гусей поднялся на крыло, вспоров ровный травяной шов неба и воды, утащив на лапах в небо кусок протоки.

Вода и воздух стремительно темнеют, густеют и пахнут ванилью. Иногда тишина по бокам проток вдруг взрывается утиным гомоном отходящих ко сну и чего-то испугавшихся птиц.

Маленькие охотничьи домики стоят на сваях. Слуги-инородцы зажигают масляные лампы, охотники скидывают сапоги и патронташи. Красное вино добавляет оживления и неги в охотничьи байки. Впрочем, засыпают все рано.

Дмитрий Опалинский, муж Маши, пытается читать случайно захваченную с собой книжку. Книжка принадлежит Пете Гордееву и между страниц то и дело попадают песок и жесткие собачьи волосы.

Опалинский откладывает книжку и думает о Пете с необычной завистью. Он – как будто рожден охотником и полноценно живет хотя бы в этом. Большая охота! Длинноствольные ружья, большие костры, возбужденный собачий лай, время набивать патроны, смазывать сапоги медвежьим салом, наново раскрашивать деревянные приманки... Господи, ну почему меня-то это совершенно не трогает?!

Уснуть Опалинскому так и не удалось. Выезжают в половине четвертого. Небольшой слуга-хант ловко работает шестом, Дмитрий сидит на корме. Мимо бесшумно проплывает Петя Гордеев. Петя обходится без слуг, у Пешки-два и Пешки-четыре важные и сосредоточенные морды, похожие на лица туземных дипломатов. Вода полна звезд и тишины. С шеста падают бриллиантовые капли. От холода сводит руки. Укрытия для стрельбы – небольшие деревянные помосты, спрятанные в камышах. Лица скрывшихся в траве охотников обращены к востоку, как будто бы они совершают совместную молитву.

Заря восходит на небо в желтизне, зелени и золоте, словно сохраняя соразмерность земным краскам. Разливы потихоньку просыпаются, совсем рядом шлепают по воде, пробуют голос, продираются сквозь траву невидимые птицы. Облака с рассветом расходятся в стороны, бесстыдно обнажая небо. С юга и востока уже слышны выстрелы.

Прямо на Опалинского, строем, летят сразу две утиные семьи. Он вскидывает ружье, стреляет и промахивается. Как всегда, сначала кажется, что утки идут ниже, чем на самом деле. Вспугнутые птицы уже летят отовсюду, на разных скоростях, под любым воображимым углом. Дела Опалинского идут на лад. Возбужденный охотой молодой хант собирает убитых уток и сваливает на дно лодки, его запястья окрашены кровью. В мозгу возникает вполне охотничья, молодая мысль: «А вот бы настрелять уток больше, чем Петя! Вот бы ему нос утереть!»

Неожиданно рядом появляется еще одна лодка. Дмитрий не сразу замечает ее, и лишь когда холод от чужого взгляда достигает лопаток, оборачивается. Высокая, тонкая фигура в черном держит в руках ружье и пахнет смертью. Как-то сразу становится ясным, что этот человек не охотится на уток.

– Кто вы? Что вам нужно? – собственный голос кажется Опалинскому несуразно высоким.

Молчание в ответ. Ожидание длилось мучительно, как судорога в сведенной мышце. Разгорающийся восход окрасил золотом темные волосы незнакомца. Дмитрий оглянулся, ища взглядом слугу. Молодой хант сидел на корточках в углу помоста и смотрел в воду. Выстрелы слышались отовсюду и еще одного никто просто не заметит. Утиная охота – самое удобное время для сведения старых счетов...

– Хотите стрелять, так стреляйте! – закричал Опалинский, брызгая слюной.

– Хотел бы, но не получается, – негромко и как-то по-идиотски доверчиво сообщил незнакомец.

– Отчего же? – раздраженно спросил Дмитрий Михайлович. Липкий и унижительный страх потихоньку проходил, сменяясь злостью.

– Из-за нее...

Из соседней протоки, отделенной от помоста узкой полоской камыша, донесся знакомый лай.

– Петя, ты здесь? – вскрикнул Дмитрий Михайлович.

– Ага! – донеслось из травы. – Стой там, мы плывем к тебе. У меня – восемь пар, да еще двух, по крайней мере, Пешки отыскать не смогли...

Напряженно ожидая, он забыл следить за своим врагом и, оглянувшись, увидел, что опасный незнакомец растаял в камышах наподобие болотного морока.

Когда Петина плоскодонка приблизилась, Дмитрий Михайлович склонился к первой выскочившей на помост собаке и звучно поцеловал ее в мокрый кожаный нос. Пешка от удивления чихнула и осела на задние лапы.

Глава 3

В которой Дмитрий Михайлович уговаривает жену и вспоминает не прожитую им жизнь, Любочка Златовратская волнуется за сестру, а Марфа Парфеновна навещает сердечного друга

– Машенька, голубка, я умоляю тебя, давай уедем отсюда! В Петербург, в Москву, в Россию, в Китай, к чертовой матери, куда угодно!

Дмитрий Михайлович Опалинский говорил, отвернувшись к окну, тихо и нервно. Весь облик его напомнил бы способному мыслить метафорами наблюдателю роскошный персидский ковер, забытый на зиму в летней усадьбе. Изначальная тонкая красота произведения была где-то побита молью, где-то запылена, где-то залита тусклыми лужицами свечного воска. Впрочем, первичный изощренный узор вполне проглядывал: Опалинский обладал на удивление правильными и еще не окончательно расплывшимися чертами лица, обрамленного густыми русыми волосами, и стройной фигурой с хорошо развернутыми плечами и тонкой талией. При этом движения его казались излишне мелкими для его роста и сложения.

– Уедем? – уже знакомая нам женщина, объяснявшаяся с братом до начала охоты, ходила вдоль внутренней стены комнаты, оставаясь за спиной мужчины.

Он слышал ее тяжелые, неровные шаги и невольно морщился. Женщина весьма заметно хромала, припадая на правую ногу от бедра и упираясь кулаком чуть ниже поясицы. Увечье ее, след давней болезни, когда-то едва ли не умиляло его, вызывало жаркую волну сочувствия, но нынче в глазах мужчины (и некоторых других хорошо знавших Машеньку людей) трансформировалось весьма странным образом и выглядело уже не болезненным, а скорее нарочитым, едва ли не частью образа. От хромоты походка женщины и все ее передвижение в пространстве приобретали какую-то тяжелую, кошачью грацию и хищность, присущую старым барсам и огромным тиграм, живущим в верховьях Амура. Все знали, что опираясь на изящную трость (Машенька имела их целую коллекцию, некоторые, инкрустированные бронзой и полудрагоценными камнями – подлинные произведения искусства), она могла ходить, почти не хромая. Но, по никому не известным причинам, пользовалась Марья Ивановна тростью крайне редко, предпочитая обходиться без нее.

– А что ж с делом станет? Как ты думаешь? Куда все? – вопрос повис в воздухе и медленно, вместе с кружащейся пылью опустился на дощатый пол, присоединившись к десяткам неотличимых от него собратьев. За прошедшие годы эта комната слышала десятки, если не сотни подобных споров.

– Продадим, обратим в деньги. Хватит на обзаведение в любом месте. Купим домик, сад разведем. В нем будут сливы цвести, вишни, а не шишки дурацкие... Я, если желаешь, служить пойду, ты тоже себе занятие найдешь...

– Кому ж продадим?

– Да хоть *ей*... им... Вере с Алешей...

– За четверть цены, как она предлагала?! – в светлых глазах женщины метнулись свирепые огоньки. – Да никогда! Лучше все в казну отдам!

– Другим...

– Кому ж другим? Кто купит? Мне тебе объяснять? На двух приисках из трех богатые пески истощились. Золота там еще много, это все говорят, но надо менять технологию добычи. Значит, покупать новую машину – чашу или бочку, это раз. Ставить паровую тягу, как на «Марии» – два. Переучивать рабочих – это три. Новые нормы выработки, новые контракты.

Все это должны делать мастера, причем из сильного интереса, чтоб ладно получилось. А половина мастеров – пьяницы, а новых взять негде – это уже четыре. Того довольно. Кто ж у нас на такие затраты пойдет? Кто связываться станет?

– А мы-то? Мы сами? – мужчина не стал говорить громче, но по интонации – почти кричал. – Как мы сами все это проделаем, если у нас нет ни одного толкового инженера, а этого Измайлова – утопили в болоте?! Он просто медленно уничтожает нас! Лучше бы просто убил! Но ему надо, чтобы медленно и мучительно! Я больше не могу! Слышишь, Марья Ивановна, не могу!!! Или уезжаем, или... я не знаю, что я сделаю!

– Ничего ты не сделаешь, вот в чем вопрос, – почти спокойно произнесла женщина, останавливаясь за спиной мужа. – Я уверена, что с Измайловым – это случайность, вовсе не на нас направленная. Никто, кроме его самого, не мог знать, что он раньше поедет...

– Третья случайность за шесть лет?! Ты сама-то слышишь, что говоришь?!!

– А ты – слышишь? – парировала Марья Ивановна. – Савелий Карпович на охоте провалился в ручей, простудился и в горячке умер. Валентина Егоровича у всех на глазах бревном в раскопе зашибло. Еще двое, между прочим, пострадали. Комиссия постановила: случайность, даже никаких нарушений по безопасности не нашла. Что ж тебе еще? Или, по-твоему, он бревно силой духа перенес и лед под Савелием Карповичем проплавил?

– Я не знаю, как это конкретно было сделано, – упрямо повторил мужчина. – Но ни в какие случайности не верю. Когда за шесть лет гибнут три приехавших в один маленький городок инженера...

– Пять! – усмехнулась женщина.

– Чего – пять?

– Не чего, а кого! Пять инженеров, я говорю. Ты Матвея Александровича позабыл, он в тот же срок вписывается... И еще одного... Не буду называть, но как инженер он погиб, с этим ты не можешь не согласиться...

– Конечно, как можно! Позабыть *самого* Матвея Александровича! Да ни в жизнь! – откровенно ерничая, воскликнул мужчина и наконец повернулся к жене лицом. В его необычных – зеленых в коричневую крапинку – глазах, едва ли не стояли слезы. – Да я все эти годы на минуту про него позабыть не могу. И хотел бы, да всяк напомним! Святой был человек! И в работе, и в жизни, и в любви – выше всяческих похвал! А рожу его жуткую, и как детей им пугали, и дразнили, и едва ли не камни вслед бросали – это позабыли все! И как он рабочих за людей не считал, и как петицию Ивану Парфеновичу носили, заметь! – не про то, чтоб жалованье повысил, а чтобы Печиногу с прииска убрал, и тетрадь его желтую, и штрафы за все подряд, и собаку, которая, чуть что, на людей кидалась... А теперь, как убили его, гляди-ко – едва ль не ангел получается! Загадочная русская душа, черт бы ее побори совсем!

– Митя, ты, по-моему, сам слегка забываешься... – неожиданно почти добродушно рассмеялась женщина. – Матвей Александрович, конечно, святым не был, это уж люди после придумали, из извечной тяги к идеалу, как у Платона описано. Но и ты... Баньши на людей никогда не кидалась, ты это помнить должен. И что он в тетради писал, так это рабочие тогда думали, что провинности и штрафы, а доподлинно так никто и не узнал никогда. Не нашли ведь ту тетрадь-то...

– Да мне-то какое дело, что он там на самом деле был, если меня все эти годы каждый им в нос тычет! Матвей Александрович – то, Матвей Александрович – сё, вот при Матвее Александровиче... Будто бы я не старался...

– Ты старался, Митя, и с этим никто спорить не станет, – серьезно, без тени насмешки, сказала Марья Ивановна. – И хотя это теперь все и вправду позабыли, у тебя с людьми получалось и получается куда лучше, чем у бедного Печиноги. Он и вправду человеческое устройство почитал за великую тайну и за всю жизнь даже не пытался понять, отчего люди на механизмы не вовсе похожи. Но ведь есть же еще и производство. Тут уж Матвей без спору докой

был... Ты, конечно, за эти годы тоже многое узнал, научился... Если бы *она* тебе Матвеевы книги и записи отдала... – женщина сжала руки и противно хрустнула суставами коротких, но тонких пальцев.

– Брось, Маша! – усмехнулся мужчина. – Ничего бы я в матвеевых записях не разобрал. Голова у меня иначе устроена. Где люди, там я могу, а где металл или неживое что – увольте! Вот Валентин или Савелий, те – конечно... А может, нам только прииски и продать? Или закрыть их вовсе, как Александров сделал? Выработали золото и все... Будем жить без этой головной боли...

– А где ж люди работать станут?

– А нам-то что за печаль? Мы что, как Коронин, радетели за трудовой народ? Подписку давали?

– Нет, Митя... – медленно, с усилием выговорила Мария Ивановна, видимо побледнев и сделавшись оттого старой и некрасивой.

Все морщины, образовавшиеся на лице ее от многолетнего сдерживания сильных и страстных порывов, разом проступили наружу, словно проведенные карандашом или присыпанные серой пудрой. Дмитрий Михайлович смотрел на изменившееся лицо жены почти со страхом.

– Подписки мы не давали, – как бы размышляя вслух, продолжила женщина. – Да и по сути Коронин со товарищи, – что ж? Только громкие крики и палки в колеса неизвестно чему... Я тебя понять могу и даже посочувствовать. Тебе Егорьевск – не родной, ты здесь попал как кур в ощип, чего ж тебе за него радеть? А у меня, пойми, положение другое. Мой отец, Иван Парфенович, этот город создал таким, какой он сейчас есть... Во мне его кровь, и он на меня рассчитывал, теперь я это ясно разбираю, и тебя, то есть... В общем, тебя он мне в подмогу из Петербурга выписал. Чтобы мы вдвоем вожжи удержали. А если мы теперь прииски закроем, и ничего взамен не дадим, так городу – конец. Я уж думала сто раз. Тракт у нас не основной. Любое другое производство в тайге организовать – в десять раз больше сил и денег надо. И опять же – специалисты. Это в России – инженер на инженере сидит и инженером погоняет. Были бы капиталы и желание, а дело организовать – пара пустых. А здесь, мой милый, – Сибирь... Рабочие руки и земля дешевы, но суровы и тяжелы на новое, на понятие его. Просторы к себе манят, кажется, вон там, за той сопкой, лучшая жизнь, да даром. Сословий, считай, нет. Вольные люди... А кто трудиться сызмальства не приучен, дела в руках не имеет, тем и вовсе. Встань и иди... Причем кнутом и штрафом дела не поправишь. Но, как ни крути, это – моя родина, мое дело. Отними ее у меня и... что ж останется? Салфеточки вязать в твоём вишневом саду?

– Ты что же – хочешь прямо сейчас взять на себя ответственность за весь Егорьевск? – усмехнулся мужчина. В тоне его, помимо желания, сквозили и нотки восхищенного удивления. – Не многовато ли будет?

– Если ты мне помогать будешь, ну хоть, как прежде, вначале, а не вопить трусливо: бросим все, уедем! – так и в самый раз.

– А позволят ли? Ну как мешать станут? – мужчина обиделся на реплику жены, но привычно постарался не показать этого, прикрылся вымученной, вовсе необаятельной улыбкой.

– Разберемся. По ходу дела... – Марья Ивановна хотела добавить что-то еще, но не успела, потому что слова ее были прерваны громким, ритмичным стуком и шлепаньем, раздававшимся со стороны лестницы. Спустя еще несколько мгновений в комнате появилась согнутая крючком старуха, опиравшаяся на клюку и одетая в простое черное платье. Желтые, кривые, изуродованные старостью и болезнью ступни ее были босы. Из-под белоснежного, монашески подвязанного платка смотрели острые, темные, совершенно не выцветшие глаза.

– Здравствуйте, Марфа Парфеновна! Как почивали?

– Здравствуй, тетенька! – почти одновременно произнесли муж с женой.

Старуха, опираясь на клюку и приподняв подбородок, оглядела комнату и сказала скрипучим, но звучным голосом (так порою звучит старый, надтреснутый колокол):

– Чем меж собой собачиться, молились бы лучше! Все бы и устроилось!

– Пески побогаче стали? Инженер жив оказался? Чего еще? – вежливо уточнил мужчина.

– Все, все в руке Божией! – трубно возгласила старуха. – И богатства земные, и судьбы людские! Али сомневаешься?!

– Нет, нет, мы не сомневаемся! – торопливо подхватила Маша. – Господь велик, а мы – ничтожны пред ним. Но ведь у каждого, кто в миру живет, свой жребий есть, и его исполнять надо по мере сил. Так ли, тетенька? – казалось, она на полном серьезе ждет ответа. Мужчина досадливо махнул рукой и снова отвернулся к окну.

– Пожалуй что так, – поразмыслив и пожевав синими губами, ответствовала старуха.

– Я думаю, что мой жребий – сохранить и приумножить то, что батюшка оставил. Если мы теперь прииски закроем, то Егорьевску – конец. Я же не должна запустения и погубления родительского строения допустить...

– Гордыня, Машка! Гордыня тебя жрет! – взвыла Марфа Парфеновна, выставив кривой палец в сторону племянницы. – Как у отца твоего! Его-то гордыня и сгубила! Гордыня и злато поганое! Смирись и молись неустанно! В паломничество к святому месту съезди. Тогда и понимание придет!

– Хорошо, хорошо, – смиренно опутив взгляд, Маша тут же пошла на попятную. – Я подумаю, тетенька, посоветуюсь с владыкой. Может, и вправду съезжу... Вы бы присели теперь в кресло... А что у нас новенького?

– Постою, небось на ногах еще, не калека, днем по креслам рассиживать, – проворчала Марфа. – У нас... Чего же у нас? – старуха плотнее налегла грудью на рукоять клюки. – А – вот! Намедни ходила Матюшу с Соней навещать, пряничков им снесла и игрушечку, что Тиша выточил...

– Тетенька! – в голосе Марьи Ивановны явственно послышалось раздражение. – Зачем вы туда ходите? Я ж вам сто раз говорила: рассудите сами, неужто Вера Михайлова детям пряничка купить не сможет? На что вам? И ей каково вам привет оказывать?

– Ничего ты не разберешь. Дело не в гостинце, а во внимании и ласке. Вера Артемьевна – женщина суровая, лишний раз детей не приглубит, не понежит... («Зато уж ты ласковая, прямо умереть до чего!» – почти неслышно проворчал себе под нос Дмитрий Михайлович) А игрушечки тишины и вовсе на ярмарке не купишь. Они каждый раз аж визжат от радости, и в корзинку, как птенцы, заглядывают... «Ну что там, бабушка Марфа, не томи, что там?!» А Вера, как бы у тебя с ней ни сложилось, насупотив меня ничего не имеет, и прямо так мне и говорит: Вы уж навещайте нас, Марфа Парфеновна, как надумаете да силы будут, детям всегда в радость и мне отрадно. Бабушек-то у них нет, да и я маменьку родную уж и в лицо позабыла...

– Вот змея-то! – вздохнула Марья Ивановна. – И вы, с вашим-то умом, ей верите?!

– Ничего такого! – возмутилась старуха. – Не сложилось у вас, так ты и рада все наизнанку обернуть! Будто ты не знаешь, что Вера, как и я сама, приязни ни к кому изображать не станет. Лучше промолчит, но никогда пустого не скажет!... Да вот, я что говорить-то хотела, да ты меня сбиваешь всегда. Письмо она на той неделе из Петербурга получила, от Софьи Павловны...

На скулах мужчины заходили яростные желваки, женщина, напротив, видимо заинтересовалась новостью. На ее бледные щеки даже вернулся румянец.

– Ну? Что у нее там? Читала она тебе? Или так рассказала?

– Так рассказала, да я поняла, что не в первый раз и уж почти до слова выучила... Погоди, вот теперь я присяду... – старуха добралась до того, с чем пришла, и, прежде, чем сообщить новость, обустривалась со всеми возможными удобствами. – Вели Аниске чаю мне принести.

Моего, с травками... Да и сама сядь, небось ногу-то не менее моего ломит. Вот... Теперь, значит, слушай... А ты, Дмитрий, не кривись, не кривись! Коли тебе про Софью слушать неохота, так уйди и не маячь туточки...

– Отчего же, я послушаю, – сам себя окончательно не понимая, отозвался Дмитрий Михайлович.

Отчего прошлое никак не может отпустить его, дать жить в полную силу сегодня и сейчас? Чем он провинился?... «Не лукавь! – приказал он сам себе. – Все свои вины ты сам знаешь.» Но все равно. Зачем же наказывать так долго и... тяготно? Все-таки, как ни крути, но Господь Бог – удивительная зануда и иезуит! Ведь вроде бы все хорошо, так, как хотелось когда-то: он богат, женат на удивительной женщине, у них есть сын, дом – полная чаша, рабочие его уважают... Ну что бы ко всему этому еще не дать хоть немного покоя... И пусть бы забирал все это излишнее, шальное богатство, высосанное могучим Гордеевым из тощей груди этой сумрачной земли, где вместо яблок рождаются шишки, а вместо веселых песен – тоскливые напевы острожников и каторжан... Когда-то, в далекой юности, самой страшной судьбой казалось прозябание в родном приволжском городке, пыль и скука провинции, занесенные снегом окошки и карты зимой, вишневое варенье летом, служба в нарукавниках, сидение в гамаке с газетой, послеполуденная дрема под плетеной шляпой... Лучше вообще не жить, чем так! ... И что ж теперь? Кажется, что не так уж все это и ужасно? Пожалуй, что так... Обязанности на службе определены раз и навсегда. Один-два-три раза за жизнь следует ждать повышения и соответственного ему увеличения жалованья. Портреты Чернышевского и Добролюбова в дубовых рамках можно протереть от мушиных какашек и, как и папенька когда-то, воображать себя либералом или демократом по выбору. Для развлечения устраивать любительские спектакли...

– ...А главная-то новость: замуж Софья пошла и ребеночка родила!

– Как, вот так сразу: замуж и ребеночка? – удивилась Марья Ивановна.

Старуха неодобрительно пожевала губами, соображая, как разъяснить возникший вопрос.

– Ну, надо думать, она Вере не писала долго, ждала, чтоб от бремени разрешиться, а после и о свадьбе сообщила. Должно, забеременела сразу после венчания...

– Или до венчания... – задумчиво заметил Дмитрий Михайлович.

– Митя! Как тебе не стыдно! – воскликнула жена. – Ты же знаешь: Софи не такая!

– Да уж я-то знаю... – пробормотал он.

Марфа, про которую позабыли, пристукнула об пол клюкой. Там, где она находилась, слушать должны были ее. Таков порядок. Где нет порядка, там гуляют бесы – это Марфа Парфеновна знала доподлинно.

– Муж Софьи – помещик и дворянин, естественно, – продолжала она, вернув себе внимание племянницы и ее мужа. – Еще этот, который стишки пишет, забыла как называется...

– Поэт? – скорчив гримасу, уточнил Дмитрий Михайлович.

Представить себе Софи Домогатскую, рациональную и однозначную, как обнаженный клинок, замужем за каким-то усадебным поэтом, совершенно не получалось. Что-то здесь нечисто... Да и что может быть чисто рядом с Софи?

– Точно – поэт. Стишки в журналах печатает. Это Вере особенно понравилось. А родился мальчишечка, назвали Павлом, видать, в честь Софиного отца...

«Который застрелился из-за долгов, – мысленно продолжил мужчина. – Да, в этом вся Софи: назвать первенца именем проигравшегося самоубийцы... Ничего не боится! Сам черт ей не брат!»

– Ну что ж, я за Софи рада, – медленно произнесла Марья Ивановна, сплетая и снова расплетая пальцы. – Надо будет, пожалуй, написать ей, поздравить...

– Машенька, зачем?! Не надо! Что ей до нас?! – какая-то излишняя эмоциональность в голосе мужа заставила Марью Ивановну пристально взглянуть ему в лицо и дожидаться, когда он сам ответит взгляд.

– Ей до нас – не знаю. А я – так хочу, – утвердила Мария Ивановна.

Марфа, кряхтя, поднялась.

– Пойду, засиделась с вами, хозяйство ждет...

Когда мерное постукивание клюки уже стихло внизу, а сгорбленная Марфина фигура показалась во дворе, супруги все еще молчали. Чтобы нарушить это тягостное состояние, Дмитрий Михайлович спросил первое пришедшее на ум:

– Отчего ж Марфа Парфеновна в монастырь не идет? Уж так ей хотелось, когда Иван Парфенович был жив, а теперь столько лет...

Машенька легко рассмеялась:

– Да не уйдет она никуда, неужто еще не понял! Она ж и посейчас уверена, что все на ней одной и держится. Как нас без пригляда оставить? Мы ж в ее глазах – неразумные, без ее наставлений пропадем вмиг...

Совсем иные, легкие и торопливые шаги внезапным дождиком простучали по ступенькам, и девушка, которую невысокий рост делал похожей на ребенка, вбежала в комнату вместе с облачком окружавшей ее тревоги.

– Машенька! Машенька! Сделай хоть ты, или посоветуй! Я уж не знаю, к кому кинуться! Пропала, совсем пропала!

– Любочка, здравствуй! – Марья Ивановна вполне спокойно приветствовала Любочку Златовратскую, свою двоюродную сестру. Любочкина склонность к истерикам была давно всем известна и никаких особых чувств не вызывала. – Что ж у тебя теперь приключилось?

– Да не у меня! – Любочка с досадой топнула ножкой.

Весь ее куний облик можно было бы счесть вполне привлекательным, если бы не две досадные оплошности природы: слишком узкий лобик и крайне густые, широкие и темные брови, похожие на двух расползающихся в разные стороны грибных слизняков. Все прочее было без изъянов, особенно же хорошо удалась губки – в меру капризные, с красивым чувственным изломом.

– Надя у нас в тайге! Вторая неделя пошла!

– И что ж? – не поняла Марья Ивановна. – Надя всегда по осени в тайгу ходит, какие-то корешки копает. Живет в зимовье...

– Да разбойники ж там напали! Черный Атаман! Неужто не слышали?! Там именно, где она... – Любочка сморщила нос и заплакала мелким прозрачным горохом. – Всех убили! Вдруг и Надю то-оже...!

– Подожди реветь, Люба! Повода нет! – с досадой сказал Дмитрий Михайлович, но тревожная морщина все же прорезала его чистый лоб. Оглянувшись на жену, он понял, что и та не осталась спокойной после любочкиного заявления. Помолчав, он заговорил снова, убеждая не только свояченицу, но и себя. – Надя – опытный лесовик, тайгу как свои пять пальцев знает, ходит не по трактам, а по тропам, собирает свои корешки в каких-то заповедных местах. К чему ей разбойники? Как ей с ними повстречаться?

– Не знаю! – Любочка снова топнула ногой. – А вдруг?! Варвара должна ее еще через неделю забрать, такой уговор, я к ней побежала, прошу: поезжай сейчас, а она только смеется! Она знает что-то...

– Варвара, Алеши дочь? Знает – про кого? Про Надю?

– Да про разбойников же! – крикнула Любочка. – Нипочем не хочет раньше ехать. Каденька со своей амбулаторией дурацкой, Аглае на всех плевать, только бы ее не трогали. Папа вроде взволновался, но... ты ж понимаешь, Машенька! Папа в тайге это... это как бухгалтер в римском легионе! Я бы сама поехала, да зимовье не найду. Элайджа может, наверное,

найти, ей лес – отчизна, да я с ней договориться не сумела, совсем не разбираю, чего она бормочет... Машенька! Митя! Сделайте что-нибудь!

– Митя, ты знаешь, где это зимовье, в котором Надя живет? – Машенька оборотилась к мужу.

– Нет, откуда мне! Я думаю, что следует все же подождать. Что мы нынче изменим? Варвара сейчас в городе? Поедет за ней?

– Да, Наденька своих корешков две корзины на зиму набирает, да еще мешок, и к тракту по частям приносит. Там они их грузят на телегу и в Егорьевск везут. А потом часть Каденьке в амбулаторию идет, а часть она с собой, в Екатеринбург увозит.

– Ну вот и ладно, – утвердил Дмитрий Михайлович. – На Варвару, как и на Алешу, все знают, давить бесполезно. Она будет улыбаться, кивать, а сделает все равно по-своему. Надо дожидаться, как она поедет, да на всякий случай чтоб кто-нибудь из мужчин с ней был...

– Варька мужиков не возьмет! – решительно возразила Любочка. – Она всегда одна ездит. Я с ней поеду, она мне уж обещала.

– С тебя-то, с воробья, проку! – усмехнулась Марья Ивановна.

Любочка вспыхнула злым пятнистым румянцем, но отчего-то промолчала, хотя это было и не в ее обычае. Как все истерики, Любочка любила, чтоб последнее слово всегда оставалось за ней.

Поразмыслив над чем-то и пожевав губами, Марфа Парфеновна направилась в боковой флигелек, который примостился за задах у самой ограды. Не без труда взошла на низенькое крыльцо, распахнула скрипучую дверь.

– Тиша, ты тут ли?

– Марфуша! Вот хорошо! Петушка принесла? – ветхий седенький старичок поднялся навстречу Марфе из-за стола, усыпанного свежими опилками и обрезками дерева.

– Да принесла, принесла! – ворчливо отозвалась старуха и вынула откуда-то большой красный леденец. Старик тут же содрал обертку и сунул гостинец за щеку.

– Ох, Марфушенька, уважила! – неразборчиво пробормотал он и, засуетившись, принялся устраивать гостью.

Подвинул ей широкий табурет, подложил плоскую подушечку, усадил, такую же подушечку кинул на пол и, проворно согнувшись, пристроил на нее Марфины босые ступни (калоши старуха привычно скинула при входе).

– Я уж заране знал, что ты идешь, – сказал он, доставая из-за щеки леденец и оглядывая его: много ль осталось?

– Врешь, Тишка, я с другой стороны шла, ты в окно видеть не мог!

– Видеть не мог, – покладисто согласился старичок. – А слышать – пожалуйста. Ключочка твоя – тюк, тюк, тюк, а я и рад – Марфуша идет, гостинца несет...

– Только за гостинцы и рад? – желчно поинтересовалась старуха.

– Отчего ж обижаешься? – удивился Тихон. – Сидим хорошо, разговариваем. Ты рассказывай, рассказывай. Я понять-то не могу, но послушать всегда в радость. А я вот тут пока мельничку слажу...

Склонившись над столом, он принялся собирать и насаживать искусно вырезанные крылья маленькой, игрушечной мельницы. Руки старика сновали проворно, но голова мелко подрагивала на высохшей шее. Марфа молчала, вспоминая.

Тихон и Марфа были знакомы с детства, выросли в одной деревне. С юности статная красавица Марфа слыла недотрогой, всех ухажеров гнала метлой, и ждала не понять какой судьбы. Тихона же семья, да и все деревенские считали слабым умом. Он пас скот да вырезал из дерева свистульки, дудочки, медвежат и прочие игрушки. Дети и животные его любили, а прочие – не замечали. Марфа же безобидного Тишу вроде как привечала, иногда о чем-

то беседовала с ним. Он ей дарил свои дудочки и бывало, на закате, когда стадо шло домой, украшал ее косы саморучно сплетенными венками.

Шли годы и Марфу уж считали перестарком, попрекали гонором и характером, которые сами по себе переломили ее женскую судьбу. Однажды в деревню приехал Иван, невиданно разбогатевший младший брат Марфы, и позвал сестру к себе, в Егорьевск. «Хватит, Марфа, победовала. Ты у меня одна кровная осталась. Поедешь со мной, будешь теперь жить в богатом доме, ни в чем отказа не знать». Преждевременно увядшие от ежегодных беременностей и домашних хлопот Марфины подружки обмерли от зависти. «Вот ведь повезло этой высокомерной гордячке! И богатство, и почет, и в город переехать. И все – даром!»

Но Марфа Гордеева опять удивила деревню. Неожиданно для всех и в первую очередь для брата она заявила, что хочет замуж за Тихона. А приезд разбогатевшего Ивана как раз уместен, он ее за Тихона и сосватает. Чего ж боле ждать?

Иван Гордеев сначала не поверил услышанному, а после впал в тяжелую ярость. Как?! Променять все его грядущие благодеяния на нищую жизнь со слюнчавым дурачком Тишкой, у которого в кармане – вошь на аркане?!

Либо со мной в Егорьевск, либо за Тихона замуж.

За Тихона! – решила Марфа.

Двое Гордеевых – высокие, статные, сильные – таежными зверями глядели друг на друга. Одна кровь. Никто не мог победить.

– Тихон решит! – буркнул Гордеев, сгреб пастушка в охапку, кинул в тарантас и повез кататься.

О чем они тогда говорили, никто так и не узнал. Наутро Тиша принес своей возлюбленной последний венок и маленькую игрушечку на память. «Езжай с ним, Марфа, – сказал он. – Прав Иван: со мной тебе счастья не видать. У меня денег нет и не будет. Хозяйство вести не могу. Да и умом не удался. То, что ты мне говоришь, понимаю с пятого на десятое... Ты – чудо земное, разве тебе такой нужен?»

«Отказываешься от меня, Тиша?» – строго спросила Марфа.

Тихон заплакал и молча кивнул.

Сборы были недолгими и к вечеру Гордеевы навсегда уехали из родной деревни. В небольшом катуле марфиных вещей («не бери это тряпье, я тебе все новое куплю!» – уговаривал сестру выбившийся в люди младший брат.) пряталась детская игрушка – маленькая, лобастая росوماха сидела, расставив передние лапы и вглядываясь в кого-то сурово и вопрошающе. Сходство зверька с Марфой было просто разительным.

Спустя год после смерти Ивана Парфеновича Марфа отправилась на богомолье. На обратном пути велела везти ее в родную деревню. Темной тенью ходила по единственной грязной улице, сидела на крутом речном берегу под кривой, уцелевшей со старых времен сосной. Сверстники почти все поумирали. Молодые смотрели на черную старуху со страхом. Однако указали полуразвалившуюся избушку, в которой доживал век старый пастух Тихон. В избе не было никакой еды и ни одной целой посуды. В лохмотьях Тиши ползали насекомые. На столе лежали три аккуратные беленькие дудочки. Не узнав гостей, Тиша хвалил им чистый голос одной из них, предлагал купить, а если денег нет, так и так взять – в подарок. Марфа деловито торговала все три дудочки за два рубля и, договорившись в деревне, отправила Тихона в баню. Распаренный, переодетый в чистое и накормленный старичок признал в Марфе прежнюю сударушку и заплакал чистыми, печальными слезами.

– Поедешь со мной теперь, Тиша? – спросила Марфа, предвидя отказ. – Брат мой, Иван, помнишь его? Так он о том годе преставился...

– Поеду, Марфуша, – неожиданно ответил Тихон. – Брата нет, теперь тебе и я нужен буду...

Только непомерная гордыня, смолоду и на всю жизнь присущая Марфе Парфеновне, удержала ее от слез. Шагнув к старичку, она подняла его высохшую руку и поцеловала в ладонь.

Поселившись в усадьбе Гордеевых, Тихон ни дня не бездельничал. Положил тощую котомку на лавку и сразу попросился работать по дереву. Мефодий, старший над слугами, но плотник по изначальному обеспечению судьбы, быстро снабдил старичка потребным материалом и инструментом. Теперь Тихон все светлое время сидел у окошка и, мурлыкая себе под нос, резал и собирал замысловатые игрушки – мельнички, медведей с пилой, зверюшек и кукол с движущимися руками и ногами. Побывав с Мефодием на приiske, две недели кумекал и к удивлению всех собрал-таки действующую модель золотопромывальной машины-бочки с водяным приводом, в которую можно было даже засыпать песок. Игрушки свои Тихон охотно дарил всем желающим (от желающих, понятно, не было отбою, но, согласно Марфиному распоряжению, преимущественным правом пользовались внуки Гордеева и дети Веры Михайловой). Сама Марфа обычно приходила в Тишину сторожку к вечеру, когда темнело, и он уже не мог работать (свечей и лампу Тихон не зажигал, привычно считая непомерным расходом). Рассказывала обо всем, что случилось за эти долгие годы с ней и вокруг нее, силилась понять, объяснить не то Тише, а скорее – себе. Тихон слушал смиренно, сложив на коленях натруженные руки, наслаждаясь, пил чай с сахаром и баранками и – впервые в жизни – кофей. Спрашивал редко. Понимал ли четверть – Бог весть. Но Марфе и того было довольно – впервые в жизни она говорила о себе. Впервые в жизни (после той, далекой и призрачной, молодой поры) у нее был слушатель, которому она могла поведать обо всех своих победах и поражениях, сомнениях и страхах. Тихон действительно был нужен ей. Теперь это отчетливо понимал не только он сам, но и Марфа. Синими сибирскими вечерами два очень старых человека совместно творили что-то такое, что, приглядишься кто повнимательнее, вполне мог бы назвать счастьем. Но приглядываться было некому. У всех вокруг кипели свои, очень важные, нужные и непременно спешные дела.

Глава 4

В которой Надя Коронина и Андрей Измайлов весьма близко узнают друг друга, а читатель знакомится с историей, которая случилась в Егорьевске несколько лет назад

Неожиданно в середине дня ей вдруг захотелось, чтоб он увидел ее обнаженной. Только что прошел дождь, снова выглянуло солнце и опавшие листья блестели от воды. Желтые свечки лиственниц отливали золотом, темные, почти черные ели горели угрюмым сланцевым блеском.

Надя развела в очаге большой огонь, половчее развесила связки корешков и пучки трав. Снарядила котел с водой, чтоб после сделать ему перевязку.

– Жарко, – пожаловался Измайлов.

– Сейчас дверь открою, – сказала Надя. – А вы – в окно смотрите.

Прямо на улице сбросила одежду, чуваки, белье, подняла руки и босиком закружилась по мокрому скользким листьям. Его взгляд плавил мутное стекло и это было приятно. Стыда не было совсем. Ей казалось, что она, наконец, достала платье от хорошего портного, которое много лет висело в гардеробе и не использовалось по назначению. С веток летели ледяные капли и охлаждали разгоряченную кожу.

С охапкой одежды вошла обратно в зимовье. Нагретые шербатые доски пола приятно массировали ступни. Измайлов смотрел с лежанки серьезными, темными глазами. Она поняла, что с ним никогда не будет легко. Вздохнула с сожалением и приняла, как есть.

– Ваш муж?... – спросил он.

– Мой муж, Ипполит Михайлович Петропавловский-Коронин, – бывший член Народной Воли, – покорно объяснила Надя, оставив одежду на полу и завернувшись в какую-то пыльную попонку. – Ссылный. Ученый, когда-то в Санкт-Петербургском университете изучал многощетиновых червей. Потом вступил в кружок, увлекся идеями, борьбой за народное дело... Вы, наверное, лучше меня знаете, как это бывает... – Измайлов кивнул, подтверждая: знаю, мол, как же не знать!

– Раньше он жил на поселении в Егорьевске, здесь мы и познакомились. У нас все образованные люди наперечет, а он и среди них выделялся. Крупнее его только Гордеев был, да, может, еще Матвей Александрович... Ипполит Михайлович много рассказывал мне, из естественных наук, о положении народа. Тут я, наверное, не меньше его знала, но он разъяснить умел, что да почему... В общем, когда ему позволили в Екатеринбург перебраться, я с ним поехала, поступила там на курсы... Мы стали вместе жить, а потом на Пасху поженились, три года уж прошло...

– Что ж Ипполит Михайлович и в Екатеринбурге какую-то работу ведет? – осведомился Измайлов. Лицо его показалось Наде холодным и отчужденным. Она заторопилась с ответом.

– Конечно! Конечно! Я не все знаю, да и конспирация у них, но... Там собрания регулярно бывают, журнал рукописный, читают статьи, которые товарищи из России присылают. В прошлом году организовали побег из Тобольского центра...

– Довольно! – Измайлов поднял руку, словно заслоняясь от Надиных слов. – Я понял. И что же вы... вы, Надя, конечно, целиком и полностью разделяете убеждения вашего мужа?

Надя нахмурила густые брови и провела рукой по лицу, словно снимая налипшую паутину. Видно было, что ответ не дается ей попросту.

– Отчего-то мне хочется ответить вам, не соврав, – медленно сказала она. – А это трудно. Я, вы уж поняли, давно медициной увлечена. С самого детства. В этом видела и вижу свое предназначение...

– А семья? Дети? – быстро переспросил Измайлов.

Он уже сталкивался с подобной позицией у женского пола, правда, она была никак не связана с медициной. Те женщины-товарищи, из его молодости, пугали его даже тогда, когда он сам был нешуточно увлечен романтикой борьбы. Горячася и дымя папиросами ему в лицо, молодые революционерки упрекали его в ригидности, консерватизме, непонимании момента и пристрастии к женскому неравноправию. Он соглашался скрепя сердце, но в глубине души все-таки считал, что изготовление бомб, теракты, тюрьмы и всякая другая подпольная, сопряженная с риском и опасностью деятельность – сугубо мужское дело.

– Детей у нас пока нет, – ответила Надя и опустила голову. – Может, я бесплодна, может быть, Ипполит... А может, просто время не пришло...

– Простите меня, – он вдруг почувствовал себя жестоким и бестактным. Она спасла ему жизнь как раз благодаря своему давнему и серьезному пристрастию к медицине. Она стояла перед ним босиком, практически голая, завернувшись в какую-то нелепую накидку. Она молода и привлекательна. Ее муж, ссыльный Петропавловский-Коронин, наверняка – бирюк и зануда. А он устроил ей форменный допрос, как в крепости...

– И вы простите меня, Андрей Андреевич. Мне легко с вами говорить и вдруг пошалить захотелось, а это в моем и вашем положении... невместно...

– Отчего ж невместно пошалить? – он приказывал себе замолчать, но язык, все тело не подчинялось приказам. – Всегда серьезным не будешь. Только надобно нам с вами сейчас уточнить, чтобы после конфуза не случилось. Вы чего ж из шалости желаете: наставить теперь господину Коронину рога или просто... покрасоваться собой перед немощным инвалидом, как дамы перед зеркалом в драгоценностях вертятся?

Он так быстро, точно и окончательно понял ее, что Надя, наконец, смутилась и впервые увидела всю ситуацию как бы со стороны. Тихонечко взвизгнув, подхватила одежду и выбежала из зимовья, на пороге обронив попонку, в которую завернулась на время разговора.

Измайлов грустно улыбнулся и принялся ждать. Что ему еще оставалось? По правилам игры надо было бы теперь побежать за ней, догнать, облапить, целовать мокрое лицо и острые, торчащие груди, но – увы! – на это у него еще не было сил.

Надя вернулась к вечеру. Полностью одетая, серьезная, отчужденная.

– Надобно вас перевязать.

Измайлов поморщился, но кивнул согласно.

Во время перевязки она старалась поменьше прикасаться к нему. В ее движениях не было прежней ласки. Он это чувствовал и кусал губы от боли и досады.

Лежанка в зимовье была одна и довольно узкая. Он боялся, что она уйдет спать в угол, подстелив шкуры и одеяло. Но, молча поужинав, они легли, как и в прежние ночи – валетом, голова к ногам. Дождавшись, когда ее дыхание выровняется, Измайлов осторожно просунул руку под одеяло и погладил ее крутые икры и маленькие ступни. Надя замерла, ему показалось, что даже едва слышное дыхание исчезло. Он подождал еще. Она молчала, но не противилась ласке. Он ласкал ее долго и нежно. Один раз она тихонько застонала сквозь зубы и в ее стоне ему послышалось удивление. Он мысленно, но довольно крепко высказался в адрес народовольца Коронина. В конце концов, она подобрала ноги и села на лежанке. Он видел ее черный, сгорбленный силуэт.

– Вы на меня не сердитесь, Андрей Андреевич? Не презираете меня?

– Нет, конечно, маленькая, как ты подумать могла?! – прошептал Измайлов. – Ты такая красивая была там, на полянке, дикая, на коже – золотые отблески. Я даже на секунду подумал, что это ты так шаманишь, чтобы меня побыстрее вылечить.

– Правда?

– Истинная правда. На такую красоту только взглянуть – лучше всякого лекарства.

Она всхлипнула, быстро и ловко перевернулась и юркнула в его объятия. Он прижал ее к себе и крепко поцеловал в холодные, соленые губы. Она неумело ответила на поцелуй, а спустя несколько минут уже спала, расслабившись и тесно прижавшись к нему. Измайлов смотрел в окно и механически гладил ее жесткие короткие волосы.

Наутро они проснулись так, как будто знали друг друга всю жизнь. Готовя завтрак и утреннее питье для больного, Надя фальшиво напевала и пританцовывала. То, что ее репертуар наполовину состоял из колодных и острожных песен, сместило Измайлова чрезвычайно.

Во время еды и собираясь в лес за очередной порцией корешков она все время старалась как бы ненароком коснуться его – плечом, рукой, щекой. Он ловил ее за руку и целовал и брал в рот по очереди грубые маленькие пальчики.

– Не тронь, грязные! – с испугом говорила она.

Она умывалась, но под ногтями у нее была вьевшаяся грязь все от тех же корешков.

Стремление уяснить все до конца всегда мешало ему жить, и портило даже самые лучшие моменты. Его вопрос остановил ее на пороге.

– Ты ведь никогда не оставишь своего Коронина, так?

Она обернулась и опустила мешок. Маленькая лопатка тихонько звякнула внутри. Лицо ее казалось разом потухшим, и ему захотелось сползти с лежанки, опуститься на колени, просить прощения и целовать ее ноги, которые он так долго ласкал минувшей ночью. Но что толку просить прощения за то, что ты такой, какой есть? Это все равно ничего не изменит...

– Так. Ты правильно понял, – Надя помотала стриженной головой. – Я вижу: ты ругаешь себя, что спросил. Но ты правильно спросил. Лучше знать сейчас, пока мы еще не... Я уважаю его и, наверное, даже люблю. Он очень умный и несчастный. Хотя и думает, что счастливый. Он тоже уважает меня и во всем мне доверяет. Между народным делом и многощетинковыми червями для меня остается немного места, но большего мне никогда и не обещали. Ты понимаешь, Ипполит никогда не обманывал меня...

– Понимаю, – кивнул Измайлов. – Сам был таким. И черт бы побрал это народное дело вместе с многощетинковыми червями!

– Прости за все. Я понимаю, что теперь мы... ты... Ты не волнуйся! Я стану уходить надолго, а потом в углу спать. Через пять дней уж должна Варвара приехать. И... спасибо тебе! Ты даже представить себе не можешь... – она нагнулась за мешком, кожаные штаны плотно обтянули ее небольшие ягодицы.

– Оставь все и иди сюда! – властно сказал Измайлов.

Она взглянула на него глазами, полными слез и надежды. Он закусил губу, почувствовав какую-то странную ответственность. Совершенно абсурдную по только что выясненным обстоятельствам.

Надя присела на краешек лежанки. Он был еще слишком неловок и ограничен в движениях, чтобы раздеть ее. Совершенно по-деловому он сообщил ей об этом. Повинуясь его словам и взгляду, она сделала все сама. Ее тело было прохладным, плотным и упругим, как свежий, недавно вылезший грибок. От нее даже пахло только что вспаханной землей. Этот запах Измайлов помнил из детства. Ее ласки были похожи на случайные прикосновения воды и веток с листьями к разгоряченной коже. Он как будто бы бежал нагишом через мокрый весенний лес. В лицо ей он старался не смотреть. Она все время жмурилась и кусала губы, как будто он причинял ей боль. Он точно знал, что это не так, но все равно переживал и нервничал.

После она казалась растерянной. Он не понимал причины и старался лаской и нежностью утишить все, чтоб это ни было. По устройству характера ему хотелось расспросить ее немедленно и поподробнее, но Измайлов волей давил в себе эту неуместную сейчас любознательность.

Три следующих дня были похожи на предыдущий. После завтрака Надя уходила-таки в лес, но возвращалась быстро, так, как это казалось ей приличным. Иногда она вовсе ничего не собирала, а просто сидела на берегу лесного пруда, заморожено глядела в его темную воду и ждала, когда можно будет идти назад. Он легко разгадывал ее уловки и они казались ему смешными и трогательными.

В физической любви она поначалу сторожилась его, и была на удивление неумелой для женщины, которая четвертый год замужем. Измайлову ее неумелость не мешала, он сам был достаточно опытен, чтобы разрешить все проблемы, тем более что Надя не стеснялась спрашивать и обучалась по видимости охотно.

Сам себя Измайлов считал мужчиной вполне тривиальных и консервативных взглядов и возможностей, и никаких преувеличенных да и вообще никаких амбиций относительно своих достоинств не имел.

Надя же чувствовала в нем удивительное. Он желал ее страстно и истинно по-мужски, и здесь она не могла ошибиться. После его «допроса» и первой близости они много и откровенно говорили обо всем на свете, в том числе и об отношениях с противоположным полом. Она знала, что за жизнь у него было всего две серьезные связи, и оба раза он собирался жениться. Брак не состоялся по вине женщин, одна из которых нашла более выгодную с материальной точки зрения партию, а вторая была суфражисткой по убеждениям и революционеркой по образу жизни, три года из 25 лет своей жизни провела в казематах Петропавловской крепости и вообще не собиралась выходить замуж. Напрямую она спросить не решилась, но Измайлов не производил впечатление человека, регулярно посещающего женщин легкого поведения или имеющего интрижку с собственной кухаркой. Сколько времени у него не было женщины? Месяц, полгода, год? Больше?

Итак, он желал ее, в то же время как бы оберегал от силы собственной страсти. Это странное, поистине чарующее для женщины сочетание просто сводило ее с ума. В буквальном смысле. Иногда ей, никогда в жизни не падавшей в обмороки, казалось, что в его объятиях она вот-вот потеряет сознание. Он же полагал, что она притворяется и добродушно бормотал: «Ну, будет, будет...»

После они, как уже упоминалось, говорили обо всем на свете. Она рассказывала ему о жизни в Егорьевске, о людях, с которыми ему предстоит встретиться и наладить отношения. Он слушал внимательно, борясь со сном, понимая, что это важно.

– А эта Варвара, которая за тобой приедет, она – что? Тоже от мужа и – свободна?

– Нет. Вот ты называешь меня дикой. Это не так. По сравнению с Варварой я – образец цивилизованности. Вот она – дикая и прекрасная. И не замужем. Отец пытался ее выдать, но она не далась. Проводит в тайге не месяц в году, как я, а без малого – полгода. Чего там делает, никто не знает. Даже я – лучшая подруга. Мне: «прости, не скажу», а обывателям: «колдую», чтоб боялись. Здесь она – в отца. Варвара – остячка. Ее отец, остяк Алеша, богатейший в здешних краях человек, он еще с Гордеевым покойным работал, а нынче с Верой, которая жена убитого инженера...

– Погоди, погоди, я запутался, – перебил Измайлов. – Жена инженера связана с остяком Алешей?

– Ну, Вера Матвею Александровичу не настоящая жена, конечно, они не женились, но все у нас так считают, и ребенок растет... Вообще-то Вера была горничная девочки из Петербурга, Софи, а когда Гордеев умер, а Матвея Александровича убили, она тут осталась...

– Ничего не понимаю, давай по порядку! – снова влез Измайлов. – Почему горничная – жена инженера? Как так может быть? Что за девочка из Петербурга? Куда она потом подевалась?

– Ну это, так сказать, демонология нашего городка. Фольклор, хотя и недавно образовавшийся.

– Расскажи. Я спал целый день, пока ты собирала траву, и теперь все равно не усну, да и должен же я знать, чтобы не попасть впросак, когда, наконец, окажусь там и встречу со всеми героями воочию...

– Со всеми не выйдет. Иных уж нет, а те – далече...

– Все равно Расскажи. Мне интересно.

– Ладно, слушай. Только учти, если заснешь в середине рассказа, как в прошлый раз, я обижусь не в шутку!

– Нет, нет! Смею, однако, надеяться, что нынешние демоны будут поинтересней самоедских, о которых ты рассказывала прошлый раз...

– Ты невозможен! Я тебя накажу и не дам ночью есть! – засмеялась Надя.

– Ты не будешь так жестока! К тому же тебя замучит профессиональная совесть. Ты доктор и знаешь, что выздоравливающим надо хорошо и много питаться. Так я слушаю внимательно...

– Развязка всех событий произошла лет семь... да, пожалуй, уж восемь лет назад. И началось все опять-таки с приезда инженера из Петербурга. Хотя нет, что я говорю, началось раньше. Тогдашний хозяин города и прииска – Иван Парфенович Гордеев, перенес сердечный приступ и узнал от врачей, что у него аневризма и, стало быть, он может умереть в любую минуту. Законных, уже взрослых детей у него было двое: Петр Иванович и Марья Ивановна, оба холостые и без всяких достойных перспектив. Петя, которому было уже под тридцать, – пил и балбесничал, Машенька, 23 лет, по нашим местам, считай, старая дева, хромала, молилась и собиралась в монастырь. Я эту диспозицию хорошо знаю, так как Иван Парфенович, можно сказать, нашей семье родственник. Маша с Петей мне двоюродные, а моя мать и Мария, Ивана Парфеновича покойная жена, были родными сестрами, она рано умерла и Каденьку Иван Парфенович, можно сказать, самолично вырастил.

– Каденьку? – переспросил Измайлов.

– Каденька – это моя и сестер матушка, Леокардия Власьевна Златовратская. Крестильное имя ее, конечно, Леокадия, но это она еще в детстве так придумала: Леокардия – львиное сердце. Так и стало. А Каденькой уж мы ее все зовем. Чужие люди удивляются, что мать – по имени, а нам всем так удобно – так что ж. Каденька у нас передовых взглядов, эмансипэ, как я, в молодости радикалка была, теперь-то помягчала слегка, хотя... Ну это вы сами увидите... И вот Иван Парфенович в таком разрезе совершенно не знал, кому оставить дело...

– А что ж у него за дело было?

– Прииск «Мария» в честь жены, еще два небольших, подряды, рыболовные пески – всего-то и не упомяну, я – человек неделовой, да и зачем мне? А он-то сам из крестьян, все – своим горбом да руками. Матерый человек был, сильный, выломился из своего слоя за облака, и где-то надломился, видать... И вот придумал он такую штуку: выписать из Петербурга управляющего на прииск, да с тайным условием – жениться на его хромоногой Машеньке, да в придачу всю Гордеевскую империю после его смерти и получить. Кто-нито да польстится, так он рассуждал. Так и вышло. Приехал из Петербурга молодой да пригожий инженер Дмитрий Михайлович Опалинский. А по дороге на него и карету разбойники напали, да всех и поубивали...

– Да брось ты! – усмехнулся Измайлов. – Это что ж у вас, в обычае что ли – инженеров приезжих убивать?

– Ты дальше слушай, – усмехнулась в ответ Надя. – Дальше краше будет... В общем, остался тот инженер жив и даже относительно невредим (не тебе чета!), очнулся и пошел по тракту. Пришел в Егорьевск. Стал работать на Гордеева. А про уговор с Машенькой то ли позабыл, то ли решил – обойдется... Ну вообще-то его разбойники по голове стукнули, почитай целый день без памяти лежал, всякое по такому случаю могло произойти...

– А что ж Машенька-то? Она знала ли, что ей папаша жениха прикупил?

– Ничего она не знала, что ты! От нее-то в первую голову и скрывали! Машенька, она тогда была... ну, цветок оранжерейный – так правильно будет. Молилась все, к владыке чуть ли не через день бегала и про монастырь талдычила. Тут, правда, ее еще тетка направляла – Марфа Парфеновна, Ивана Гордеева сестра, она у них после смерти Марии хозяйство вела и Машеньку, почитай, вырастила. Куда, объясняла, хромоножке дорога? – Только в монастырь. И я, мол, с тобой двинусь. Это у нее самой много лет такая мечта была.

– Что ж, ушла Марфа Парфеновна?

– Да нет, что ты! На том же месте тетенька Марфа сидит, всех веником гоняет. Скрючило ее только от старости, но ничего – бегает еще, на клюку опирается... А у нас, надобно тебе знать, был уже тогда на прииске свой инженер – Матвей Александрович Печинога. Голова у него была светлая, а внешность – только детей пугать.

– Это отчего же? Покалечился где?

– Да нет, уродился таким. Жил анахоретом, с котом и собакой, с женщинами не знался. Людей не понимал совершенно, сам никогда ни копейки на золоте не украл и другим не давал. Работал день и ночь и от других того же требовал. Пьяниц на дух не выносил. Сам понимаешь, ненавидели его все без разбору.

– За что же ненавидели? Уважать должны. Специалист и честен. Неужели за внешность?

– Андрюша, ты вправду дурак или прикидываешься? Не человеческий он был. Совершенно. Я девчонкой была, но помню хорошо. Даже рядом с ним молча стоять – и то неловко. Страшный, огромный, без друзей-приятелей и без недостатков. Все время носил с собой тетрадь и что-то в нее записывал. Никто не знал – что, рабочие думали – штрафы, но я полагаю, что-то еще. Жутко. Как будто из другого мира посланный. Зачем? Понимаешь?

– Ну, я его не знал...

– Может, тебе и приглянулся бы... Но вряд ли, ты на вид – обычный человек, без этого... Значит, Матвей Александрович. Жил он себе, жил и полагал, что место управляющего прииском – его по праву. Кто лучше его в горном деле разбирается? Кто работает больше? Кто прииск лучше своей ладони знает? Никто. А тут приезжает из Петербурга какой-то никому неизвестный хлыщ, и Гордеев ему – все на блюдечке подносит.

– А чего ж Гордеев Машеньку-то за этого Печиногу не сосватал? Все бы разом и уложилось...

– Господи, Андрей! Да ты представить себе не можешь – это же ужас какой-то был, и не улыбается никогда. Ну вот алтайских каменных баб видел? Матвея Александровича портрет в лучшие годы – один в один!

– Да, не повезло мужику. И что ж дальше было?

– Понятно, что Печинога Опалинского сразу невзлюбил. Тот уж и так, и этак к нему, ан нет – нипочем не идет. Тому и досадно. Он вообще такой, Опалинский, – нравиться любил всем, почитай, без разбору. С рабочими заигрывал. Ухаживал сразу и за мной, и за сестрами моими, и вообще за всеми юбками, кто попадется. Бывают, знаешь, такие люди – хочу, чтоб меня все любили, и все тут. Не из корысти даже, а так – на всякий случай, по зову души. Всеобщий угодник... Гордеев, понятно, на все это смотрел с удивлением. Когда же свадьба? А Машенька-то, скромница, возьми и влюбись по-настоящему.

– В кого, в инженера?

– Ну конечно, в кого ж еще? Впрочем, у нее тут как раз и еще один кавалер образовался. Это уж вообще, совсем циничный расчет был. Николаша Полушкин.

– Кто таков?

– Престранная личность. Он после всего исчез, так что его уж не повидать. Зато родители его и брат младший туточки. Маменька их, Евпраксия Александровна, московская дворянка, отчего-то вышла замуж за подрядчика местного, Викентия Савельевича Полушкина. Гонор в ней так дворянский и остался, да и Николаша уродился.... ну, право не знаю, в кого,

но уж не в Викентия Савельевича – это точно. Николашу Евпраксия Александровна любила безмерно, а младшего сына, Василия, как бы и не замечала вовсе. А Вася, между прочим, интересный юноша был. Наблюдения делал за природой, записи вел, Ипполит Михайлович его заметки над муравьями даже в Петербург посылал... Многие тогда Васю дурачком считали, да после передумали... А Николаша был себе на уме, с Петей Гордеевым как бы дружил, но если с кем и откровенничал, так это с матушкой, как бы странно не звучало. А Машенька Гордеева еще, почитай, в детстве на Николашу заглядывалась, а он тогда на малышку-хромоножку... Ну ты сам понимаешь. После-то изменилось все. Петя ему, должно быть, разболтал про отцову болезнь, ну вот Николаша с матушкой, видать, и рассудили: женится Николаша на Машеньке, Петю окончательно споит, вот все денежки и его. И работать, как на отца, не надо.

Ежели бы им пораньше решить, так, может, все и прошло бы, как они задумали. Но уж тогда-то у Машеньки сердце занято было, и Николаше – невместно.

Николаша был ловелас, а у Пети, хоть и в годах, – никого. Что ж такое? Потом оказалось, он тайно любил Элайджу, еврейку, трактирщиков Розы и Самсона дочь. Она уж тогда от него ребенка ждала, а Илья, это ее брат, в Петю стрелял.

– Зачем же стрелять? – удивился Измайлов. – Что он разрешить хотел?

– Да ничего, просто с отчаяния. Элайджа, она... Ну, если по-русски рассудить, то это называется юродивая. Не глупая и не больная, просто... другая, понимаешь? Кто-нибудь может быть даже сказал бы: святая. Если б не еврейка, впрочем, Петя ее потом, кажется, крестил... Трактирщики ее от всех прятали, только в лес возили погулять... Она по-русски и сейчас плохо говорит, зверей, птиц, даже траву ей понять легче... В общем, как они с Петей сошлись, этого понять нельзя. Зато каждому понятно, что никогда Иван Парфенович Пете бы жениться на ней не разрешил. Мало в дому блажных...

Николаша на том с Петей и сыграл. В самом общем так: вот отец помрет, вы с Машкой будете всему хозяева. Я на Машке женюсь и все дела на себя приму, а ты – Элайджу за себя возьмешь. А к Печиноге Николаша по-другому подъехал. Вот, мол, вы Ивану Гордееву столько лет верой и правдой служили, как пес, а он вас побоку, и какого-то выскочку из Петербурга к себе под бочок... Да и моему с Машенькой счастьем – преграда... А как не станет Гордеева, да я на Маше женюсь, сразу выскочку – вон, а вы – всему производству хозяин. Я и мешаться не стану, потому что не понимаю в золотодобыче ничего...

Да все бы, может, так и стало, но тут Гордеев с Опалинским уехали в Екатеринбург, оборудование заграничное получать, а в Егорьевск явилась та самая девочка из Петербурга с горничной – Софья Павловна Домогатская.

– Как, ты сказала, ее звать? – неожиданно встрепнулся Измайлов, задремавший было под рассказ о кознях Николая Полушкина. – Ну-ка, повтори!

– Софья Павловна. Для своих – Софи.

– Правильно, Софи. А сколько ж ей тогда было лет? – спросил Измайлов, явно что-то подсчитывая в уме.

– Да совсем ничего – она ж моложе меня. Шестнадцать – около того. А отчего ты спрашиваешь, Андрей? Ты что, разве знаешь ее?

– Да вот, прикидываю. Роман «Сибирская любовь» – это не она ли писала?

– А, ты читал?! Так ты тогда все про нас знаешь! Там же узнать всех легко.

– Да я такого чтения не любитель, – невнятно отговорился Измайлов. – Помню смутно, только хвосты. Ты уж расскажи, чем там кончилось-то...

– Софи сама нам роман не прислала, постеснялась, что ли, хотя на нее это и не похоже. Метеоролог наш... после уж в Петербург по научным делам ездил, вот он и прикупил. Привез, в дороге прочел. Как стал рассказывать, да хохотать (его-то там, в романе, не было, он в то время на Лене пробы какие-то собирал), так у него книгу отобрали, да больше он ее не видал.

Верить, в две недели до дыр зачитали! Каждый себя искал. И вправду, умора, как она все перевернула. Вера только одна не дивилась, думаю, ей Софи и раньше как-то передала, да только она никому говорить не стала. Из Веры Михайловой лишнее слово клещами тащить... Но мне-то понравилось, особенно папенька наш хорошо вышел, как он все из латыни говорит, и Матвей Александрович с Верой. Про меня там мало, ты, должно, и не помнишь...

– Но погоди, там ведь какая-то путаница с бумагами была. У этого, приезжего инженера, и того, ее жениха, который погиб...

– Ну это она, понятно, для красоты придумала. Чтоб завлекательней для читателя. Жених ее тогда погибшим считался, но... вот ведь подумай, как жизнь-то оборачивается! Врешь, врешь, да ненароком и правду соврешь. Выжил он!

– Так и у нее в романе – выжил! Она знала! Я так тебе и говорил!

– Да что ты говорил! – Надя досадливо махнула рукой и двинулась на лежанке. – Дубравин и появился-то первый раз через год после того, как она в свой Петербург отъехала. И где? Кем?

– Кем? – эхом повторил Измайлов.

– Да ты ведь, голубчик Андрей Андреич, и его знаешь! – усмехнулась Надя.

– Кого? Дубравина? Откуда?

– Помнишь главаря шайки, которая тебя добить не сумела? Сергей Алексеевич?

– Это... он?!

– Точно, он. Сергей Алексеевич Дубравин собственной персоной.

– С ума сойти! – искренне воскликнул Измайлов. – А как же так вышло? Ты знаешь?

– Ну, здесь я только догадываться могу. Скорее всего, его во время нападения ранили, а камердинер его, Никанор, его где-то припрятал, а сам взял сторону разбойников. Потом уж они вдвоем... Никанор-то все по Вере сох...

– Той самой Вере? Которая с инженером и горничная Софи? Что ж она им всем?

– Той самой. Ее ты еще повидаешь и, гляди, сам... – Надя добродушно улыбнулась, но где-то в глубине ее темных глаз мелькнули язычки пламени. – Сам не присохни...

– Что ж? Такая удивительная женщина? – невозмутимо уточнил Измайлов. – Красавица? Умница?

– Да уж поумнее иного мужика будет. Увидишь, – Надя решительно закрыла тему, а Измайлов сделал себе в памяти зарубку. – Значит, Софи. Она с самого начала стала во все влезать и всех тормошить. А уж любовные-то истории, которые у нас тут замотались... Как так, без ее участия?! И не сказать, чтоб она была умна как-то, или красива. Говорила она – это да, это уж тогда заметить можно было! Этот невозможный стиль, в котором юная Софи заявляла обо всех, – маленькие, злые, незаконнорожденные фразы. Их нельзя было забыть или игнорировать. Про мою старшую сестру: «несокрушимая верблюжья элегантность». Аглая до сих пор злится, хотя столько лет прошло. Но – точно невероятно!

В общем, над Машенькой Гордеевой Софи мигом взяла шефство и принялась устраивать ее счастье. Так, разумеется, как сама понимала. Тут как раз у ее горничной начался с Матвеем Александровичем роман, а она в это время латынь учила, и у папы уроки стихосложения брала...

– Кто – Софи?

– Да нет же, – Вера!

– Вера учила латынь и брала уроки стихосложения? – Измайлов осторожно помотал головой.

– Я же тебе уж сказала, Вера впитывала все, как лишайник воду во время дождя, – с легким раздражением уточнила Надя. – Что ей латынь? Она теперь со всеми поставщиками из инородцев на их языках говорить может. Им лестно, а ей – в любопытство.

– Замечательная парочка – Софи Домогатская и ее горничная Вера, – признал Измайлов. Спать ему уже совершенно не хотелось. – И что ж дальше?

– Дальше все просто колесом закрутилось. Софи сначала Веру с Матвеем мирила. Тут Николаша к Машеньке посватался, она побежала объясняться с Опалинским, чтоб решиться на что-то. Но тут, видать, и Гордеев устал ждать и решил на Опалинского нажать, а Машенька как-то про их сговор и прознала. Ей это в обиду показалось, как же, высокие чувства, а тут... В общем, она решилась – в монастырь, немедленно. Софи взбунтовалась, побежала объясняться со всеми. Тут на прииске бунт, у Гордеева – удар, Николаша с Петей замыслили все под шумок в свою сторону повернуть, но Петя в последний момент испугался и пьяным упал. А Николашу с его корыстными замыслами Машеньке заложил внебрачный Гордеева сынок – Ванюша. Матвей Александрович вышел рабочих успокаивать и его убили. Гордеев умер. Потом казаки прискакали...

– Да... это-то я и в романе помню... Как его напечатали, еще дискуссия была: правые говорили, что слишком много симпатий к рабочим, которые суть преступники, а левые упирали на то, что симпатии автора на стороне эксплуататоров, и он, она, то есть, остается в позе наблюдателя народных страданий и совершенно не сочувствует освободительному движению...

– Софи никому не сочувствует. Даже себе. Она просто действует. Такая эманация поступка. Во всяком случае, такой она была здесь, раньше. Теперь – не знаю.

– И теперь такая же, – неосторожно заметил Измайлов.

– Так ты ее знал?! Знаешь?!

– Нет, нет! Видал пару раз, мельком...

– Потом расскажешь все подробно! – безапелляционно заявила Надя. – Это важно. Софи Домогатская здесь уже не личность, а основа егорьевской мифологии. Несколько главных для города людей, ты уж догадываешься – кто, живут как бы в постоянных контактах с ней, хотя и не видели с тех пор. Полемизируют с ней, ссорятся, демонстрируют достижения, завидуют, любят, ненавидят. Остальные, из тех, кто видел кусочки, строят какие-то боковые фантазии. Они ветвятся, пересекаются, срастаются. Понятно, что к реальной теперешней женщине все это отношения не имеет, но все же... «Блажен, кто посетил наш мир в его минуты роковые...» Понимаешь? Вот эта девочка пронеслась, как комета, по егорьевскому горизонту как раз тогда, когда здесь события были в самом накале, и запомнилась потому, и осталась, как знамение, по которому счет ведут...

– Удивительно! – Измайлов согласно качнул головой, но более ничего говорить не стал.

– Ты что-то бледен, – Надя озабоченно заглянула мужчине в лицо, провела ладонью по обросшей щеке. – Тебе, наверное, отдохнуть надо. Я тебя заговорила. Ложись.

– Да я-то лежу давно, ты забыла? – усмехнулся Измайлов. – Ложись сама. Да не к ногам уж, ко мне под бочок.

– Ты... тебе вредно, Андрей...

– Ничего мне не вредно. Только о том и думаю, рассказчица. Иди сюда. Будем греться.

Глава 5

В которой читатель знакомится со взглядами на жизнь остячки Варвары, а Черный Атаман декламирует Некрасова новым членам банды

Березы теряли листву, и по черной воде озера плавали пригоршни золотых монеток. Заходящее солнце наискось, сквозь поредевший лес, поджигало их своими лучами и они вспыхивали по очереди, как сокровища в древних сказочных кладах, освещенные лампой нашедшего их отрока.

Варвара, стоящая на берегу озера, едва заметно усмехнулась и нашла взглядом вершину недалекой сопки, на которой росла кривая, расщепленная молнией сосна. Клады бывают не только в сказках, уж она-то знала это доподлинно...

В неподвижной воде, как в совершенном старинном зеркале, отражались стена леса, редкие подсвеченные розовым облачка и опрокинутый сказочный терем, возведенный над озером как будто по мановению руки лесного волшебника. Варвара знала источник и прообраз этого мановения – цветная гравюра из книги русских сказок, которые когда-то привез с ярмарки их с Анной отец, остяк Алеша. Именно по этой картинке, под ее, Варвариним, руководством и строился сказочный терем с его резными столбиками, крылечками, башенками, открытой галерейкой и верандой с цветными витражами, на которой даже самый пасмурный день казался светлым и веселым.

В крутом берегу озера спускались к воде выложенные камнем ступеньки, которые продолжались широкими мостками, стоящими на толстых, зеленоватых бревнах. На берегу между соснами на цепях висела скамья-качели. Перед крыльцом несколькими куртинами рос специально высаженный шиповник с блестящими оранжевыми плодами. В детстве Варвара с сестрой делали из ягод шиповника нарядные колечки, выковыривая и отрезая ногтем серединку с лохматыми семечками. Шиповник цвел все лето, и сейчас на нем еще сохранилось несколько цветов такого густого розового оттенка, что ему, казалось, не хватало всего одной капли краски, чтобы превратиться во что-то столь же пронзительное, как алый крик крови или слышный каждому уху стон ветреного заката. Между десятками розовых кустов затесались два белых, которые были объектом особенно пристального внимания хозяина. Сейчас на них грустили два явно умирающих цветка цвета топленого молока. Варваре захотелось нарисовать их. Она рисовала белый шиповник уже несколько раз, сделала два десятка набросков, но вот таких цветов, сумеречных, остановленных прямо на пороге осенней смерти, у нее еще не было. Когда-то придет весна, на голых ветках снова распустятся почки, появятся бутоны, но это будет уже без них, и не для них... Впрочем, не стоит. Варвара подошла к кусту, сорвала оба цветка и растерла между пальцами жухлые бессильные лепестки.

Снова охватила взглядом терем и окружающий его, тонкой кистью нарисованный мирок. Он был не похож ни на что, кроме открытки, случайно упавшей в тайгу и равнодушным колдовством обращенной в явь. В детстве Варвара много ездила с отцом, и доподлинно знала: ничего похожего на это в Сибири не было и быть не могло. Может быть, в России, или, скорее, в чьем-то сне о ней. Она знала, чей это сон, и отчетливо понимала, что рано или поздно чары развеются, и вся картинка исчезнет без следа. Но так же бесшумно будут стоять вековые лиственницы, и березы будут сыпать свое неистощимое золото в непроницаемую гладь Черного озера...

Светлое озеро было в тайге одно. Оно всем известно и на нем стояли Выселки. Чернозелье состояло из нескольких небольших озер, точное число которых знали разве что охотники из самоедов. Но они никогда, никому и ничего не скажут. Себе дороже.

Никто не узнает. Варвара принимала временность и хрупкость этого укрытого от всех мирка так же, как принимала исчезающую протяженность всех других явлений мироздания. Так устроен мир, и глупо, а главное, совершенно бесплодно испытывать по этому поводу какие-то чувства. В этом она всегда расходилась с Машенькой Гордеевой, теперь – Марьей Ивановной Опалинской. Та с детства любила играть в останавливание времени и часто употребляла в разговоре слова «навсегда» «никогда» «постоянно» и даже слово «вечность». Последнее для Варвары всегда отчетливо пахло тряпками, в которых мыши свили гнездо. Петербургская барышня Софи Домогатская, которую когда-то занесло в Егорьевск прихотью западного ветра, тоже начинала чихать и дергать носом от этих слов: «Вечная дружба! Вечная любовь! Вечный Бог! Фу, какая глупость!» – восклицала она, и жила тем, что происходило с ней и окружающим ее миром в настоящий момент. Варвара стояла между ними, протянув руки к обеим. Все вещи и явления имели свою протяженность, и это было существенно для обращения с ними – Варвара единственная понимала это. Обе барышни не видели Варвару и жили рядом с ней так, как будто бы младшей дочери остяка Алеши не было на свете вовсе. Варвара этому не удивлялась и, уж тем более, не обижалась. Чего же обижаться, если она сама спряталась от них, и от всех других тоже. Спряталась под личиной, которую нарисовала для себя без помощи кистей и красок. Ей было десять лет, когда она поняла, что отец всегда носит маску. Тогда же она решила, что у нее тоже должна быть маска. Еще год ушел на ее изготовление. Маска пригодилась сразу же, потому что именно в тот год умерла их с Анной мать. Никто не мог понять, почему младшая дочь Алеши все время улыбается и молчит. Потом привыкли и перестали замечать.

Софи Домогатская, также не заметив, сделала Варваре огромный подарок – она показала ей, как рисовать на листе уходящую вдаль дорогу. Самой Софи это объяснял учитель рисования два года. Варвара поняла с одного урока. Она даже запомнила название, которое принесла Софи: «закон перспективы». Запомнила из благодарности, потому что во многих русских словах совсем не было плоти, и это было из их числа. «Верность» «отчуждение» «восторг» «особенности» – и еще много-много других. Все они состояли из ветра. Варвара была земным существом и не любила разговаривать дуновениями. Она рисовала днем и ночью. Две недели ее трясло от возбуждения и внутреннего жара, она ложилась голой в снег и даже стягивала себе платком грудь под платьем, чтобы бешено колотящееся сердце не разорвало ее на куски и не выскочило наружу между ребер.

Варвара с самого раннего детства тонко понимала цвета и формы мира, умела отражать и превращать их в своих руках. Но теперь мир на листе бумаги перестал быть плоским – и это было подлинное чудо, с которым нечего было даже сравнить! Софи, как у нее водилось, ничего не заметила, и побежала дальше, в погоне за какой-то своей, неясной и неважной для Варвары целью. Варвара же осталась со своим богатством... О, она уже тогда умела копить!

Сумерки между тем сгустились, над озером пролетел нетопырь, где-то в лесу, пробуя голос, прокричала ночная птица. Луна лениво ворочалась в ветвях, пыталась выпутаться из них и взойти на небо.

Варвара медленно развернулась и взошла на крыльцо. Из сеней отворила дверь в самую большую комнату, в которую хозяин разрешал входить только ей. Скинула туфли и босиком прошла по тканым половикам, которые приятно щекотали ступни. Хозяин хотел постелить здесь персидский ковер, но она уговорила его и сама разрешила тряпки и соткала половики нужной длины и расцветки. Ковра тут не надо – это Варвара знала наверняка, и Сергей в конце концов согласился с ней, очередной раз признав за ней первобытное и абсолютное чутье на краски, вещи и их сочетания между собой.

Не зажигая свечи, Варвара прошла по комнате, которая более изощренному человеку могла бы напомнить сектантский молельный дом. На полу от окон уже лежали лунные тени. Вся мебель была накрыта льняными чехлами, и оттого казалась призрачной. На боковой стене висел большой женский портрет в тяжелой раме, написанный маслом. Под ним стоял подсвечник на шесть свечей и букет осенних ветвей в дорогой китайской вазе. Все вместе походило на алтарь. Лицо белокурой женщины на портрете было задумчивым и прекрасным. Тонкие черты лица пронизывала печаль. Богатое, поистине королевское платье со шлейфом красивыми складками ниспадало на узорчатый пол. В руке женщина держала белую розу, которая как-то странно напоминала растущий во дворе шиповник.

Варвара по-приятельски кивнула женщине на портрете, не испытывая трепета от их явного неравенства. Портрет писала она сама по просьбе Сергея. Образцом служила полустершаяся эмаль в маленьком медальоне в виде желудя, который Сергей всегда носил с собой. Варвара поняла это так, что на нем изображена женщина, которую Сергей когда-то любил в Петербурге. Была ли она его возлюбленной, или он любил безответно, так и осталось для нее загадкой. Никакой злобы или обиды к таинственной петербургской незнакомке Варвара не питала, ведь это было так давно, да и вправду ли было? Варвара давно уже поняла, что русские склонны придумывать себе не только пустые, наполненные ветром слова, но и целые куски не бывшей жизни. Кажется, они полагают, что это может расцветить жизнь действительную. Не так ли поступил и Сергей? Черты женского лица на миниатюре из медальона были практически неразличимы, и потому Варвара дала волю своей фантазии, постаравшись, чтобы угодить Сергею, сделать незнакомку как можно более красивой на русский лад, так, как она сама это понимала. Белокурые локоны спускались почти до пояса. Алые, налитые губы приоткрыты, кожа медового оттенка, полные открытые плечи. Никакого платья в крошечном медальоне, естественно, не было видно. Варвара, недолго думая, покопалась в библиотеке Златовратских и выбрала картинку с самой пышно одетой принцессой, которую только смогла отыскать. Именно в ее платье она и одела петербургскую красавицу. По-видимому, получилось неплохо. По крайней мере, Сергей был доволен и подарил художнице три золотых слитка и костяной гребень с самоцветами. Его благоволение и радость были для Варвары дороже, но и золото казалось отнюдь не лишним.

Приподняв чехол, Варвара открыла крышку рояля и указательным пальцем нажала на басовую клавишу. Долго слушала умирающий в воздухе звук.

Потом снова вышла на крыльцо. Лес чернел закрывшейся дверью. В высоком небе томильно и странно проплыла и погасла яркая звезда.

– Что это?!! – прошептала за Варвариним плечом Агнешка, сирота, внучка ссыльного поляка, которую хозяин недавно привез в терем для услужения.

– Не знаешь разве? – Варвара равнодушно повела бровью. – Кто-то из наших шаманов в Верхний мир отправился. Может, Мунук, может, еще кто...

Помолчали.

– Варвара, как ты думаешь, Черный Атаман будет нынче? – снова спросила Агнешка.

– Может, да, а может – нет. Я жду до утра, а потом – уеду. Меня Надя Златовратская ждать будет.

– Не надо бы вам! Сергей Алексеевич даже рассердится, коли вас тут не сыщет, коли без его наказа уедете. Накажет потом! – опасливо сказала Агнешка.

– Я – не его собственность, а свободный человек! – Варвара ответила фразой, которую когда-то давно подслушала у Златовратских и полюбила за звучность. Агнешка испуганно перекрестилась.

Варвара знала, что полячка опасается вовсе не за нее, а за себя, боится попасть Черному Атаману под горячую руку. Она презирала трусость Агнешки, так как сама практически ничего не боялась. В том числе и наказания. Черный Атаман ценил ее и берег от всех, а пуще прочего –

от себя. Сказать больше, Варвара иногда сама нарывалась. Прошлой весной случайно услышала про дело, в котором втемную хотели использовать ее соплеменников, и на них же после свалить грех перед полицией. Варвара от имени отца (ее саму бы и слушать не стали) объяснила ситуацию старейшинам и сорвала договоренность. Отчего она так поступила – и сама не знала. Соплеменников она, пожалуй, презирала. Так же, как и отца, ее более всего удивляла и раздражала в них неспособность думать вперед и рассчитывать последствия собственных и чужих действий. Как-то существенно изменить их было невозможно.

Люди Черного Атамана явились на место и не нашли там самоедов, которые ушли в тайгу. Разъярившись до крайности, Дубравин велел поймать кого-нито и любым способом выпытать причину. Когда причина стала ясна, он один прискакал на Черное озеро и сходу избил Варвару нагайкой. Потом, проспавшись и отойдя от гнева, сам отыскал ее на сеновале, промыл свежие раны, целовал руки и ноги и просил прощения за жестокость.

– Отчего ты в тайгу не ушла? Могла бы ведь переждать, покуда я перебешусь, успокоюсь... – спрашивал он, заглядывая в непроницаемые глаза.

Варвара молчала и улыбалась запекшимися губами. Она не могла сказать ему, что ей нравится, когда он ее бьет, и этот контраст между его жестокостью и жалостливым, почти бабьим утешением. Варвара была достаточно умна и знала, что Сергею, который стыдился своих вспышек, не понравится ее признание.

Потом он подарил ей целую пригоршню самоцветов, и она ласкала его ночью с таким жаром, что он даже позволил себе усмехнуться: «Тебе как будто побои на пользу идут!»

Варвара знала, что по ее лицу русский ничего не сможет прочесть, но на всякий случай отвернулась.

С утра, когда Сергей еще спал, разметавшись на широкой кровати и постанывая во сне, Варвара поднялась на сопку, к расщепленной сосне, подняла кусок дерна, тяжелую деревянную крышку и открыла маленький, зарытый в землю сруб. Сруб следила она сама, с детства любившая работать не только с красками, но и с деревом, и с камнем, и с глиной. Внутри сруба стоял небольшой, аккуратный сундучок. Варвара подняла его за железное кольцо, отперла, откинула крышку и, разжав ладонь, медленно сыпала внутрь полученные накануне от Сергея самоцветы. Потом опустила в сундучок обе руки и стала перебирать свои сокровища. Сундучок был полон приблизительно на две трети. Кроме золота, украшений и самоцветных камней, в нем лежали деньги – в ассигнациях и монетах. Варвара почти не носила украшений и не любила пестрых и дорогих нарядов. В еде она была также неприхотлива и неразборчива, как енот или ворона. Почти вся Варварина выручка от торговли в мангазее, полученные от Сергея и отца подарки, доходы от иных сделок (они имелись у остячки, так как слегка мошенническая предприимчивость отца была унаследована ею в достаточной мере) – все это практически полностью попадало в сундучок. Зачем, для чего она копила все это? Варвара не могла бы сказать наверняка, но само обладание, разглядывание и касание своих тайных сокровищ доставляло ей чувственное удовольствие. Кроме того, она полагала, что, когда мир вокруг нее очередной раз переменится, все это может пригодиться ей во вполне практическом смысле.

– Варя!

Варвара сама не заметила, как, раздумывая, спустилась с крыльца, прошла на мостки. Сейчас темная высокая фигура сбегала к ней по ступенькам. Мужчина остановился рядом с ней, не касаясь ее. Она тоже не торопилась с прикосновениями. Пока они стояли так, кокон невидимых нитей опутывал их все сильнее. Напряжение и даже боль, возникающие от этого длящегося мгновения, были приятны обоим. Лунные блики, проникающие сквозь листву, играли на волосах, скулах и плечах Варвары. Где-то глубоко в черных глазах скрывалось холодное рудничное серебро.

– Ты хотела уехать, меня не дождавшись? Хотя я и велел тебе...

– Агнешка – гадина, – равнодушно откликнулась Варвара. – Хочет нас с тобой поссорить, или мне – пакость. Намедни всю тесьму на шали спутала, отрезать пришлось. Дура. А велеть ты мне ничего не можешь. Я – сама по себе.

– Варвара! – предупреждающе вскрикнул Сергей.

– Что? Зарежешь? Плеть возьмешь? Брось, не надо тебе. Сам же после мучиться станешь.

– Отчего, ну отчего ты такая?!

– Уродилась такой. У меня мангазея, надо отвезти кость, что у хантов собрала, да свое. А до того – Надя Коронина меня на тракте ждать станет...

– Почему ты не бросишь это все? «Мангазея»... «Магазин» – я ж тебе сто раз говорил. Ты – мастерица, тут слов нет, но зачем – на продажу? И поделки эти уродские, которые ты в стойбищах собираешь... Чего тебе не хватает? Скажи, я все устрою...

– И что ж дальше? Сидеть здесь твоей полюбовницей, тебя поджидать? То ли приедешь, то ли позабудешь, то ли вовсе – голову тебе с плеч? Не нужно мне.

– А как ты хочешь? Хочешь, женюсь на тебе? Украду где-нибудь попа, привезу сюда, пусть обвенчает нас. Ты ведь крещеная? Будешь моей женой, детишки пойдут...

– Полукровки – они всегда неудачливые выходят. Нельзя промеж двух стульев сесть – так у вас говорят? Чтоб хорошо вышло, тебе надо от своей детей родить, а мне – от своего. Только я не хочу. Что в том? Анна, сестра моя, троих уже родила. Ходят, все трое на чурбачки похожи, только по размеру и отличаются. словно для разных печей нарублены. Зачем мне?...

– А чего ж ты для себя хочешь?

– Сейчас – как есть. После – не ведаю. А ты, про себя, знаешь – чего?

Луна поднялась над лесом и тут же через озеро пролегла дорожка, словно из небесного кувшина кто-то плеснул на землю серебристым молоком.

– Пойдем в дом, – сказал мужчина, так и не прикоснувшись к ней.

В комнате он зажег одну свечу, подошел к раскрытому роялю, тремя пальцами сыграл простую, болезненно наивную мелодию. Ей, как всегда в таких случаях, сделалось его жалко. Зная, что будет, если он об этом догадается, Варвара отошла к окну, отвернулась, смотрела на полосатые от лунных теней стволы.

– Ложись, – велел он, отходя от рояля.

– Здесь? – Варвара подняла бровь.

– Я так хочу, – он уже не приказывал, а просил.

Девушка повиновалась и, скинув платок и платье, легла, ощущая спиной холодную шероховатость половика. У него была светлая кожа на плечах и груди и очень темные, почти черные соски. Варвара ласкала их пальцами и губами, пока он не застонал. В минуты нежности он называл ее Чернавкой. Ей нравилось, что он такой светлый. Луна добавляла свою лепту в богатство оттенков.

– Я хочу тебя нарисовать. Так, – прошептала она.

Он удивился и широко раскрыл глаза.

– Потом! – наконец, сказал он и по-щенячьи затеребил зубами ее косу.

Потом они лежали на боку, стараясь уместиться на узком половике, еще сохраняющем жар их любви. Она – за его спиной, перекинув руку ему на грудь. Луна наискось освещала их обоих. Его тело казалось серебряным с каким-то совершенно невозможным для живой кожи зеленым оттенком, ее – бронзовым. Варвара, лежа на полу, одновременно смотрела на всю картину с потолка и жалела, что не может раздвоиться в действительности и одной из половин немедленно отправиться рисовать.

После он проснулся от холода и сквозняка. Варвары за его спиной не было. Утро лишь едва серело за окном. Шлепая босыми ногами, он подошел к окну и увидел ее, уже одетую, гарцующую на берегу озера. Небольшая ладная кобылка, похожая на саму Варвару, играла под ней, изображая поединки всадницы и коня. Варвара, не улыбаясь, натягивала поводья.

На ветках и уцелевших листьях висели большие прозрачные капли, как будто чудом удерживающиеся в воздухе. Озеро морщилось от рассветного ветерка, как нос сердитой дворняжки.

Варвара направила кобылку в кусты, туда, где скрывалась едва заметная тропа. Ее не заплетенные в косы волосы реяли по ветру, как черный парус пиратского фрегата. Он проводил ее взглядом и сжал кулаки с такой силой, что ногти багровыми полукружьями отпечатались на ладонях.

К полудню приехал Рябой и привез троих. Как было заведено, новички ехали последнюю версту с завязанными глазами и теперь, щурясь, с изумлением оглядывали сказочный терем, озеро и все окружение. Черный Атаман наблюдал за ними из стрельчатого окна.

Ни люди, ни предстоящий разговор не вызывали в нем никаких чувств. ОН искусственно попытался вернуть себе потребную настороженность, звериную остроту восприятия, которая и позволила ему когда-то пройти по грани безумия и выжить в Сибири – этом нечеловеческом, полном изначальных земляных сил мире, предельно равнодушном не только к отдельной человеческой судьбе, но и ко всей человеческой массе разом. Однако чувства не возвращались, и все тело казалось каким-то хрупким и звонким, не плотским совершенно, словно он, не заметив того, поменялся местами со своим отражением в зеркале.

– Отчего же теперь собрались, а, братцы? – голос звучал фальшиво и своей откровенной неестественностью пугал даже его самого. Алмазные лучи безумия ощутительно вылетали из глаз и щекотали роговицу. Мужики (двое в годах, а один – еще совсем зеленый, почти мальчик) ежились и переступали сбитыми сапогами. Как Варвара посмела уехать? Сейчас, когда у него опять кризис и нужда в ней?!

– Слыхали, что Сохатый снова в наших краях, к тебе прибился, а с ним – знакомцы давние...

Нелепый и опасный, как поднятый из берлоги медведь. Кныш – фамилия или кличка? Скорее, последнее.

– Так ли? Рябой говорит, ты с Воропаевым накоротке был, а вовсе не с Никанором.

– Правду говорите, – мужик опустил голову. То, что он не стал врать и отпираться, сразу расположило к нему Черного Атамана. – Как Климентия Тихоныча порешили (Кныш тактично не упомянул о том, *кто именно* порешил старого атамана), так мы с Фокой в тайгу подались. После я на Выселках жил, с бабой, нанимался там... на вскрышку торфа, – на лице Кныша отразилось столь явное отвращение к честному труду, что Сергей едва удержал смех. – В общем, не выходит у меня... тоска гложет... А тут еще племяш подбивает, – мужик кивнул в сторону потупившегося от смущения подростка. – Давай, дядька Кныш, да давай... Старому был годен, глядишь, и новому атаману на что сгодишься...

– Понятно, – протянул Черный Атаман и кинул быстрый взгляд в сторону юноши. – Как звать?

– Власом.

– «А как же зовут тебя, крошечка?

Власом.

А кой тебе годик?

Шестой миновал.

– Но, мертвая! – крикнул малюточка басом.

Рванул под уздцы и быстрее зашагал...»

Помолчали. Мужики стояли, прикрыв глаза, как провинившиеся, но неусмирные лошади. Сергею захотелось схватить кнут и выгнать всех прочь.

– Это чего же? – спросил наконец крошечка-Влас.

С Черным Атаманом иногда случались приступы предвидения. Например, сейчас он совершенно отчетливо *увидел*, что отныне юношу будут звать именно так – Крошечка.

– Это Некрасов, болваны, – устало сказал он. – Великий русский поэт, певец народной вольности. – А ты? – он мазнул беглым взглядом по третьему новичку.

– Липат, ваше благородие. Когда-то давно тоже короткое время при Климентии Тихоныче состоял, вот Кныш помнит меня, после – на Выселках. Нынче в стесненных обстоятельствах нахожусь... и пожелал вот, ежели ваше благородие изволит...

– Пошли все прочь! – не выдержал Дубравин. – Идите! Идите! Рябой вам объяснит, что к чему. Но – молчать! Поняли, каналы – молчать!!!

Сергей ощутил, как в углах губ выступила пена. На крик в дверь всунулась на мгновение любопытная физиономия Агнешки. Мужики испуганно закивали и попятились, увлекая за собой Власа. Крошечка таращил глаза и смотрел не испуганно, но замороженно. Сергею захотелось своротить ему конопатый, с зеленой детской соплей в ноздре, нос, но он смирил себя, уговаривая, что вполне можно обождать удобного случая. Теперь уж он был рад, что Варвара уехала с заимки и неизвестно, когда вернется.

Глава 6

В которой Марья Ивановна знакомится с новым инженером, читатель – с внуками Ивана Гордеева, а Любочка Златовратская желает сестре счастья

Марья Ивановна стояла, незаметно опираясь рукой о стол, и в упор разглядывала нового инженера. Можно было б и сесть, но стоять казалось удобней – не придется смотреть снизу вверх. Все мужчины, кроме остяка Алеши, были выше Машеньки ростом, да еще и хромота полвершка убавляла. По природе это было правильно, по делам же выходило неудобно.

– Носи каблучки! – советовала Любочка Златовратская.

В насмешку, что ли, или по глупости, у нее не разберешь. Какие каблучки при хромой ноге, да еще и в Егорьевске?!

Впрочем, инженер Измайлов, вежливо поклонившийся при встрече, и теперь стоявший у входа, статями отнюдь не подавлял. Среднего роста, высокие скулы, широко расставленные зеленые глаза, нос-картошка, русые волосы, уже начавшие редеть со лба, аккуратно подстриженная рыжеватая бородка. Брюки, рубаша и пиджак, явно с чужого плеча, сидят слегка мешковато. Крепкие, приятно расправленные плечи, но скован, неловок в движениях, и то явно не от волнения, а от природы.

– Может, присядем? – мягкое широкое лицо с постоянной готовностью к улыбке. С правой стороны, сверху не хватает клыка, но необъяснимым образом щербина улыбку не портит, а лишь добавляет обаяния.

Видно, что незлой и милый человек. Но не слишком ли мягок окажется? Сможет ли с рабочими? С ротозейством, с пустотой душевной, с злонравием, с лживостью людской человеческой массы?

– Да, конечно. Садитесь, пожалуйста, – Марья Ивановна с облегчением опустилась в кресло.

«Брось, Маша! – сказала она сама себе. – Он инженер и в годах, значит, с опытом по специальности. Того довольно. Не путай его и себя. Твои надежды прозрачны: однажды явится невесть откуда, как в русских былинах, второй Матвей Александрович Печиного, станет за твоей спиной прибрежным утесом, и будет стоять непоколебимо, и знающе, и любая производственная хитрость ему по плечу, а на остальное он просто плевать хотел. И все его бояться и уважают... Брось! Не будет никогда второго Матвея Александровича, и первого тоже не будет, потому что его убили. Те самые рабочие, которых он так и не сумел или не захотел понять... Знает ли уже этот Измайлов, что случилось на прииске с его предшественниками? И что об этом думает? Спросить нельзя, но как бы не забоялся, узнав... На вид он вроде не суевверен, но все же...»

– Вы слышали ли, какой конфуз непонятный с моими документами случился?

Измайлов разводит руками, словно извиняется за что-то.

Разумеется. Еще бы она не слышала. Помощник исправника ей лично доложил, не поленился приехать. Портмоне с паспортом и прочими бумагами и кошелек Измайлова третьего дня принес в правление прииска какой-то оборванный, никому не известный инородец, молча сунул первому попавшемуся на глаза человеку (им оказался уставщик Дементий Лукич) и тут же убежал неизвестно куда.

Самым для полиции удивительным показалось то, что в вернувшемся к хозяину кошельке оказались деньги. Двести тридцать семь рублей и сорок копеек.

– А у вас сколько было? – приставал к инженеру полицейский чин.

– Да я точно не помню, но, кажется, аккурат столько и было... – растерянно отвечал Измайлов.

Кроме денег, в документах обнаружилась записка. Красивым, нервным, слегка небрежным подчерком образованного человека там было написано:

«Милостивый государь Андрей Андреевич! Не обессудьте, что вещи пропали. Мне бы раньше спохватиться, но теперь эти каналы все растащили, и концов не найдешь, хоть обломай об них палку. Простите покорно, что не доглядел. Вы – крепкий орешек, с такими всегда приятно иметь дело. Позвольте пожелать Вам удачи во всех начинаниях.

Искренне Ваш Сергей Дубравин»

Мысли про Черного Атамана вызывали у Измайлова головную боль и резь в животе. Отчего он сначала отдал приказ найти его и добить, а потом вступил с ним в переписку и извиняется за то, что не уследил за его вещами? Зачем вернул документы и деньги до копейки? Как-то это все... глупо... навязчиво... Измайлов морщился. Он не любил таких игр. Впрочем, нет. Точнее будет сказать, он в них давно наигрался.

– Может, вы его знали? – продолжал настаивать пристав. – Давно, еще в Петербурге? Он-то вас в горячке не признал, а потом, по бумагам...

– Знал? – Измайлов честно перебирал в голове имена и лица. Нет, никакого Сергея Дубравина ему точно никогда не встречалось. – Нет, не знал.

– Но отчего тогда... – пристав лупил глаза и собирал в складки без того низкий лоб.

– Да он же сумасшедший, ваша честь! – с досадой откликнулся не то письмоводитель, не то другой какой-то мелкий чин, сидящий в углу и чинящий карандаш. – Черт его разберет, почему он делает то или это! Что об этом толковать!

– Что, действительно сумасшедший? – заинтересовался Измайлов. – По-настоящему?

– Ну да! – горячо заговорила личность из угла. – Это всем ясно, потому что иначе не объяснить. В марте о том годе его люди устроили резню в Сорокине. Семеро убитых, раненных я уж позабыл. А в сентябре в том же Сорокине он наделил приданым пять неимущих девиц-сирот, чтоб они замуж пошли. Это как? А когда они захватили приезжего чиновника-ревизора из Москвы и вместо выкупа требовали улучшить содержание арестованных во время волнений на Битых приисках и свободы печати в Ялуторовске!

– Ну, это-то я понимаю... – протянул Измайлов. Пристав и его неясный сослуживец взглянули на инженера с комичным изумлением. – Хотя, конечно, тоже помешательство своего рода... Но, может быть, он воображает себя эдаким таежным Робин Гудом?

– Веревка по нему плачет, вот что я вам скажу, Робин Гуд он там или не Робин Гуд! – как-то обиженно заявил пристав.

Бог с ними! Вряд ли в ближайшее время доведется еще увидеть воочию этого Дубравина, а переписываться с ним Измайлов и вовсе не собирается.

Теперь эта женщина, хозяйка приисков. Марья Ивановна Опалинская, бывшая Машенька Гордеева. Белая, вроде бы приятно округлая, но тело спрятано совершенно. Носит накидку на волосах, из-под которой выбивается всего один, очень светлый локон, длинное платье с подолом, закрывающим не только лодыжки, но и ступни. По-своему она даже красива, как некая разновидность упитанного ночного мотылька.

Измайлов видел, что Марья Ивановна не слишком-то впечатлена его видом и манерами. Что ж! Мысленно он пожал плечами, во всем соглашаясь с ее оценкой. Удивительно, но сам Измайлов считал себя именно таким – неинтересным внешне, слабым и трусоватым. Он знал о себе и большее, но надеялся скрыть от всех, стыдясь едва ли не половины прожитых им лет.

Ему было нелегко и неловко жить в Петербурге. Он устал от всех и от всего и уехал сюда, чтобы все стало легко, просто и понятно. Но и здесь все сразу пошло как-то... нелепо. Этот странный разбойник, играющий в непонятные игры с вполне реальными жизнями вполне реальных людей. Надя в самоедских штанах, обтягивающих маленький, акку-

ратненский задик... Надя Петропавловская-Коронина-Златовратская. С ума сойти! Где-то здесь, по сибирским меркам неподалеку, маячит ее муж... Ипполит Корнеевич? Нет, кажется, Михайлович. Он изучает многощетинковых червей, издает рукописный журнал и организует побеги колодников из Тобольского централа. Боже упаси! Либо я ничего не понял, либо Надя немедленно поделится с мужем сведениями о его, Измайлова, прошлом. С гордостью расскажет, как пели песни в тайге... Коронин, конечно, очень обрадуется: как же, в числе товарищей прибыль! – и станет строить планы. Тысячу планов, каждый из которых известен Измайлову уже сейчас. А чем еще она с ним поделится, докудова у них там, в идейной семье, простирается взаимное доверие, а?... Измайлов вспомнил, как Надя ставила ему, полумертвому, самодельную клизму, а потом, спустя две недели, он учил ее целоваться. Она совала узкий горячий язычок в щербину между его зубами и тихо, гортанно смеялась...

Измайлов едва не застонал сквозь стиснутые зубы, и Марья Ивановна взглянула на него с удивлением. Что это с ним? Может быть, еще беспокоит рана?

Под ее взглядом Измайлов немедленно пришел в себя и даже впопад ответил на какой-то незначительный вопрос.

С мужем Марьи Ивановны, Дмитрием Михайловичем Опалинским, он встречался и беседовал уже не то два, не то три раза, и даже ездил с ним на Мариинский прииск. И здесь не слава Богу! Помня Надины слова об общительности, демократичности и беспорядочном дружелюбии Опалинского, Измайлов сначала старался держаться в тон, шутил, балагурил и беспрестанно улыбался, так, что даже щеки заболели. Но горный инженер Опалинский вел себя странно, все время настаивал на том, что ему, Измайлову, надо еще полежать, отдохнуть, подлечиться и прийти в себя после дерзкого нападения. Измайлов твердо уверил работодателя, что уже достаточно отдохнул, поправился, и готов приступить к ознакомлению с делами, а Дмитрий Михайлович отчего-то все бормотал про отдых и отводил глаза, словно не желая смотреть на инженера. При ходьбе Измайлов заметно припадал на раненную сторону, оберегая себя от боли в боку. Может быть, ему неприятно это видеть, потому что напоминает о хромоте жены? Но ведь чушь какая-то! Да и на обычные вопросы только что повстречавшихся коллег, типа: «Где и с кем кончал курс? С кем из коллег сохранил связи? Кто читал минералогию и физическую химию в альма матер?» – Опалинский начал как-то неприлично юлить и суетиться, как будто Измайлов пытал его о невесть каких секретов.

На приiske Измайлов, устав попусту улыбаться, сразу засел за документацию. Просидел, не поднимаясь, четыре часа, и совсем запутался в происходящем. Когда спохватился, оказалось, что Дмитрий Михайлович уже уехал, впрочем, передав любезнейшему Андрею Андреевичу свои извинения и оставив свой собственный, вполне щегольский по местным меркам, экипаж.

Измайлов вернулся в лабораторию, еще раз перелистал журналы, взял лист бумаги и, подумав, записал на нем пять вопросов по существу дела. Сложил бумагу и спрятал в карман.

Во время следующей встречи с Опалинским Андрей Андреевич осторожно, вразбивку задал тому все пять означенных вопросов. Получил ответы и остался в совершеннейшем недоумении.

Ну почему в его жизни ничего и никогда не получается легко и просто? Могло ведь хотя бы иногда, в виде исключения...

После окончания визита Марья Ивановна самолично спустилась во двор, чтобы проводить гостя. Надобности в том не было никакой совершенно, и зачем потащилась, Машенька не понимала до той поры, пока не увидела. Увидев, сразу разгадала собственный, сложившийся помимо сознания, замысел. Дети Элайджы! Почему-то никак невозможно было даже мысленно назвать их Петиными детьми. Ей хотелось посмотреть, выйдут ли навстречу и как отнесутся к новому инженеру дети Элайджы, странные существа, верный барометр, даже более верный,

чем собаки... Привычно и почти равнодушно Машенька укорила себя за то, что равняет Божьи души с животными. Ну что ж, если все так делают, отчего ж ей-то... Хотя они, конечно, крещенные. Грех, грех, грех! Прости, Господи! Живем дальше...

Во время охоты, когда едва ли не полгорода собралось во дворе, дети Элайджи куда-то спрятались и никто не мог их отыскать. Особенно и не старались, потому что знали: они никогда не подойдут к человеку с ружьем. Даже любимого отца отлучили от себя на две недели, после того, как он принес домой два мешка битой дичи, из которых капала в пыль бурая кровь.

А теперь? Машенька огляделась. Теперь вот они тут, стоят невдалеке все трое, придерживаясь по обыкновению друг за друга, и зыркают глазенками. А две одинаковые собаки-гончие уже подбежали к Измайлову и симметрично встали по бокам на задние лапы, крутя хвостами и требуя ласки или подачки.

– Два, три, отойдите! – скомандовала Марья Ивановна.

– Что, простите? – вежливо переспросил Измайлов, который, одинаково дозируя ласку, попеременно и рассеянно чесал сующиеся к нему собачьи морды. – Что вы сказали?

– Два, три – так зовут наших собак, – разъяснила Марья Ивановна. – На самом деле они Пешка-два и Пешка-три, но мы их все сокращаем. У Пети... у Петра Ивановича была гончая Пешка. В охоте не так, чтобы отменно хороша, но в прочих делах умна была удивительно, почти как человек. Вот он и оставил ее щенков, и пронумеровал их. Есть еще Пешка-раз и Пешка-четыре...

– Забавно, – пробормотал Измайлов, увидел таращащихся на него детей Элайджи и присел на корточки.

Мальчик вышел вперед, прикрывая собой девочек.

– Ты – Измаил? – требовательно и почти правильно спросил он.

– Юрочка, познакомься, это Андрей Андреевич, – попробовала влезть Машенька, но, как всегда, безуспешно.

– Это неправильное имя, – сказал мальчик и утвердил. – Ты – Измаил, архангел.

– Ну пускай Измаил, если тебе так хочется, – улыбнулся Измайлов. – Хотя насчет архангела ты, конечно, погорячился...

– Я – Волчонок, – сказал мальчик. Нынче он говорил удивительно хорошо, и Машенька сделала вывод, что Измайлов ему явно понравился. – А это мои сестры – Лисенок и Зайчонок.

– Замечательные имена! – развеселился Измайлов, шагнул вперед гусиным шагом, и попытался обхватить и поднять самую маленькую из троих – Зайчонка. Девочка протянула к нему ручки, но старшая из детей, Лисенок, внезапно сделала запрещающий жест.

– Не надо! – низким и глухим голосом сказала она. – Тебе больно. Здесь, – она приложила руку к своему боку. – Потом, когда поправишься, ее покатаешь. Она любит на ноге.

– Обязательно покатаю. Спасибо за заботу, Лисенок, – серьезно сказал Измайлов, с видимым трудом встал, склонился над детьми и нежно погладил рыжеволосые головки. Марья Ивановна машинально отметила, что детей он гладил совсем не так, как ластившихся к нему собак.

Все правильно! Все так, как я и думала. Дети Элайджи разговаривают с ним и даже позволяют к себе прикасаться. Они никогда не ошибаются. Значит, он такой и есть, и у нас действительно прибыло полку мягкотелых, ласковых, не умеющих драться, кусаться и убивать... С ума сойти! Зайчонок, самая дикая из троих, трогает его за бороду и гладит по щеке!

– Дети, идите к маме или к няне! – распорядилась Марья Ивановна. – Андрею Андреевичу нужно уходить по делам. Вы его задерживаете.

– До свидания, Измаил! – хором сказали Лисенок и Волчонок и дружно, в четыре руки, оттащили от нового знакомого младшую сестру.

Господи, как же они меня все раздражают! Машенька закусила губу и привычно подавила поднимающуюся к горлу досаду.

Первый ребенок Элайджи и Пети был рожден вне брака и умер сразу после рождения. Элайджа родила одновременно с Верой Михайловой, вскоре после смерти Ивана Парфеновича и инженера Печиного. Смерти ребенка никто не удивился, и, кажется, даже никто особенно не расстроился. Какая из Элайджи мать?!

Когда Петя и Элайджа поженились, она сразу же забеременела снова и почти подряд, легко, как кошка, родила троих детей – двух девочек и мальчика. Отчего же в первый-то раз не сложилось? – думала иногда Машенька и не находила ответа. К родившимся детям Элайджа отнеслась ровно и ласково-равнодушно, в какой-то момент кормила огромной, разбухшей грудью всех троих без разбору, того, кто попросит. Маша, заходя в Петин флигель по делам, видела эту вполне первобытную картину и едва сдерживала тошноту. Огненноволосая, широкобедрая Элайджа с вываленной из ворота веснушчатой грудью казалась ей похожей на троглодитиху, а суетсящиеся вокруг нее замурзанные дети – на каких-то диковинных и неприятных зверьков, вроде маленьких и грязных обезьянок. Когда дети подросли, трактирщица Роза, бабушка детей, прислала им няньку-калмычку, племянницу ее прислуги Хайме. Калмычка легко обихаживала диковатых и неприхотливых детей, пела им степные песни и общалась с ними на таком странном, ломаном языке, что когда старшие дети, наконец, заговорили, никто равным счетом не мог их понять. Сама Элайджа говорила в основном по-еврейски, и, видимо, как-то договаривалась со своими отпрысками. Их неспособность говорить по-русски ее несколько не волновала. Дмитрий Михайлович не раз говорил Маше, что надо бы как-то вмешаться в ситуацию, и дать детям хоть какое-нибудь развитие, кроме пения калмыцких песен и прогулок по лесу с полоумной матерью. Машенька в уме и вслух соглашалась с мужем, но по душе почему-то совершенно ничего не могла предпринять в направлении образования племянников.

Сама Марья Ивановна после свадьбы беременела четыре раза. Первая ее беременность протекала крайне тяжело, с тошнотой, рвотой, отеками, но навалившиеся после смерти отца дела не терпели проволочек, и, несмотря на помощь мужа и Алеши (тогда он еще был с ними), регулярно требовали присутствия «хозяйки». Машенька ломала себя и всегда имела с собой в возке специальный кувшин, в который блевала во время поездок. Кончилось все, естественно, выкидышем.

Вторую беременность она целиком отлежала в постели и сама себе напоминала мучительно медленно подходящую квашню. Читать она не могла, есть хотелось постоянно, сколько бы ни съела, но доктор Пичугин велел себя ограничивать, чтоб не получился слишком большой плод. Замотанный делами Митя навещал ее по вечерам, гладил по голове и молча улыбался бледной, отстраненной улыбкой. Она пыталась с ним говорить, он невпопад отвечал и иногда засыпал, прямо сидя на стуле. Ни о каких супружеских радостях Пичугин велел не думать, «коли хотите дитя доносить». Никто и не думал.

Сынок Александр родился в срок, но маленьким и слабым. Закричал не сразу и до года тряс подбородком, все время мерз и лежал в кроватке в окружении нагретых кирпичей. Молоко у Машеньки так и не появилось, и ребенка выкормила одна из бесчисленных племянниц остяка Алеши. Может быть, поэтому глаза у Шурочки получились узковатыми и чуть-чуть как бы заплывшими.

Вылезши из колыбели, Александр первое время ходил на цыпочках, но после выправился и стал весьма бойко бегать и везде залезать. Слабое и тонкое сложение у него оставалось. Если ему что-нибудь не давали или запрещали, он падал на пол, синел и «заходил»ся». Отец, Дмитрий Михайлович, который в таких случаях страшно терялся, велел не портить ребенку нервы. Все домашние так и делали, и во всем Шурочке уступали. Если кто-то не услышал требования или замешкался, Шурочка бил ослушника кулачком или ногами. Впрочем, по характеру он был незлопамятный и отходчивый, и, когда находился в добром настроении, любил ласкаться ко всем и делился сладостями. Единственным человеком, которого Александр, пожалуй, поба-

ивался, была бабка Марфа Парфеновна с ее клюкой и пронзительным взглядом. В ее присутствии он ощутимо притихал, не падал на пол, и старая женщина даже догадаться не могла, каким бывал любимый внучок в ее отсутствие.

Несмотря на теплую и дорогую одежду и хороший уход Шурочка часто простужался. В три года после простуды он перенес круп. Всю болезнь внука Марфа, не зная устали, просто-яла на коленях в приделе Покровской церкви, и никакие увещания отца Михаила не могли ее оттуда изгнать. После кризиса, который случился на четвертый день болезни, Машенька нашла у себя в голове целую прядь седых волос. Шурочка поправился, но с тех самых пор у него появились странные приступы удушья, которые возникали непонятно от чего, и по непонятным же причинам проходили. Вначале каждый приступ казался несчастной матери последним. После самоедский шаман Мунук передал ей сладковатый корень, который надо было заваривать и давать Шурочке в период обострений. Отвар корня вроде бы помогал.

Потом Машенька беременела еще два раза и оба раза не доносила дитя даже до половины срока. После последнего выкидыша доктор Пичугин сказал ей, что детей у нее, по-видимости, больше не будет, но это, может, и к лучшему, так как очередная беременность могла бы ее просто доконать.

Дмитрий Михайлович, тоже переговоривший с врачом, поверил ему как-то наполовину, и теперь с осторожностью относился к исполнению супружеских обязанностей, словно ожидая от жены какого-то подвоха в этом вопросе. Машенька сначала плакала от всех этих напастей, а потом смирилась, и только трое здоровых детей отстранившейся от всего мира Элайджи порой вызвали у нее глухое раздражение. Да еще эти их идиотские клички... Они сами придумали их для себя и требовали, чтобы все называли их именно так, нарочно не откликаясь на свои вполне христианские имена – Юрий, Елизавета, Анна.

Все в дому, кроме Машеньки, смеялись и называли их угодным им образом. Впрочем, до звероватых отпрысков Элайджи и Пети никому особенно не было дела. Словно само собой разумелось, что они скорбны разумом и ни на что не годятся. Наследником всего считался Шурочка, и к нему соответственно и относились.

Раньше, год или два назад Шурочка пытался подружиться с двумя старшими кузенами. Чтобы задобрить и подманить их к себе, умненький мальчишка взял кулек сластей и свои лучшие игрушки. Машеньке все это не нравилось, но и противиться она не решалась. В чем причина? – спросил бы ее Петя. Что ответить?

Впрочем, все быстро разрешилось к ее удовольствию. Шурочка, который привык верховодить даже над слугами и родней, быстро получил от диких кузенов недвусмысленный отпор, прибежал к матери в слезах и заявил, что они все «дулаки», сломали его игрушку, и он с ними играть больше не будет. Увидав, что ребенок вот-вот начнет задыхаться, Машенька перепугалась, во всем согласилась с сыном и пообещала ему купить целых три игрушки взамен сломанной.

Теперь Шурочка «звериную троицу» великолепно не замечал, и благополучно играл с дочкой плотника Мефодия и сыном конюха Игната, которые, наученные родителями, во всем ему поддакивали и поддавались.

Любочка сидела в кресле, уютно подвернув под себя ноги, и читала очередной роман из великосветской жизни. К чтению она относилась серьезно и вникала в текст так, как, к примеру, горный инженер читал бы журналы по минералогии. Давно уже Любочка Златовратская поставила себе целью вжиться в этот странный, никогда не виденный ею мир. Из заснеженного или запыленного, по времени года, захолустья Егорьевска все это трудно было даже представить: холеные, сдержанные в движениях и словах люди носили бриллианты и парчовые платья, посещали балы и театры, ужинали в ресторанах, хранили деньги в банках, ездили летом на воды, а на Рождественские каникулы – в Европу. Это был тот мир, в котором родились

и жили до поры Софи Домогатская, муж сестры Нади Коронин и Евпраксия Александровна Полушкина. Двое первых покинули блистающий мир кровных аристократов по своей воле, и за одно это Любочка их презирала и ненавидела. Если бы ей повезло так, как им, то она бы зубами и когтями держалась за эту привилегию, и никому не позволила бы... Евпраксию Александровну Любочка, пожалуй, жалела, ибо своей волей там и не пахло.

Любочка снова склонилась над книгой. Несмотря на все трудности, она должна была себе представить этот мир, более того, слиться с ним настолько, чтобы, когда придет время, никто не заметил фальши и разницы. Времени на обкатку навыков у нее просто не будет. Придется сразу, с колес... Любочка давно знала, что рано или поздно этот мир с желтоватых страниц станет ее миром. С раннего детства она верила не в христианского Бога, а в овеществленную силу желания. Если очень сильно хотеть – обязательно получишь. Так всегда получалось. А уж кто именно обеспечивает функционирование этого закона – какая разница!

Очень хотелось поделиться своими планами и уверенностью хоть с кем-нибудь. Поразмыслив, выбрала старшую сестру Аглаю, которая казалась самой амбициозной из всех. Аглая только скептически усмехнулась и назвала все Любочкины прожекты пустыми надеждами. Потом посоветовала не разевать рот на чужой кусок, который как раз в глотке и застрянет. «Не застрянет, не застрянет, не застрянет!» – закричала Любочка и затопала ногами от ярости. Ей просто до щекотки на языке хотелось немедленно привести сестре доказательства своей правоты, но она укусила собственный палец, и сдержалась. Нельзя! Слишком многое поставлено на карту!

В сущности, все окружающие обманывались насчет любочкиного характера, считая ее человеком открытым и даже демонстративным. На самом деле она вполне унаследовала фамильную замкнутость Златовратских и умела хранить все в себе не хуже других членов семейства. Только увидеть и разобрать эту черту в плаксивой и крикливой Любочке было куда сложнее, чем в горделиво-высокомерной Аглае и диковатой, немногословной Наде.

Надя, даже приезжая в Егорьевск, редко виделась и уж, тем паче, беседовала с младшей сестрой, и потому Любочка, увидев ее на пороге, с готовностью отложила книгу и преисполнилась любопытством, хотя предмет разговора был ей известен заранее.

– Ипполит Михайлович вчера прибыл, – сказала Надя так, как будто бы сестра могла как-нибудь не заметить ее мужа, со вчерашнего дня остановившегося в доме Златовратских.

– Зачем же, он тебе сказал? – спросила Любочка. – Навестить нас, как он заявил? Это не в его обычае, ему до нас и дела нет. Неужто по тебе соскучился? Или почуял что...

– Не говори ерунды! – отрезала Надя. – У него здесь какие-то свои, политические дела, он мне толком не объяснил пока...

– Какие ж у нас в Егорьевске политические дела?! – искренне изумилась Любочка. – У нас же, как Ипполит Михайлович съехал, так и ссыльных не осталось, если Веревкина не считать...

– Отчего же не считать?

– Да ну его! – Любочка махнула рукой с великолепно отрепетированным презрением. – Бирюк, еще почище твоего Коронина. Сидит один в немытой избе и пишет историю Тобольского централа. Для будущих поколений... Дурак! Нет, ну вот хоть ты мне скажи, Надя, – вдруг загорячилась Любочка. – Ну вот какое мне дело до будущих поколений, если меня самой там уже не будет и я ничего не увижу? А?

Надя задумалась, потом нерешительно предположила:

– Может быть, это оттого, что там будут твои дети жить? Внуки, правнуки?

– Мои-то будут, – усмехнулась Любочка. – Да им самим разбираться придется. А вот внуки Веревкина, о которых он, по-твоему, радеет... Трудно представить...

– Да уж... – Надя сама не удержалась от улыбки и продолжила, вспомнив. – Так вот же, кроме Веревкина, ты забыла, еще один на поселение приехал – Гавриил Кириллович, кажется? Может, у Ипполита к нему дело?

– Да, Давыдов, я его у Каденьки видала, – согласилась Любочка. – Нормальный, вроде бы, человек, хоть и ссыльный, говорит, шутит, улыбается... Позабыла, верно, но тому удивляться нельзя, потому что ты со своей новостью этого Гавриила Давыдова и все прочее перебила...

– Я?

– А то? И не делай, пожалуйста, такое лицо, будто не понимаешь! Я Измайлова имею в виду, которого ты в тайге подобрала...

– Ну и как он тебе? – независимо поинтересовалась Надя.

– Андрей Андреевич? Он... он, славный, наверное, человек, но...

Любочка задумалась, формулируя, и по привычке задвигала, зажевала маленькой губкой, как делают степные сурки-байбаки. Когда-то давно Иван Гордеев купил на ярмарке такого зверька – толстенького и потешного – на забаву своим детям, Пете и Маше. Почти взрослому Пете он быстро надоел, а Маша еще долго возилась с ним, заворачивала в пеленки и укладывала спать в специально сложенную Мефодием маленькую кроватку. Наде тоже очень хотелось такого зверька, и она, пересилив себя, даже просила отца. Левонтий Макарович поднял тонкий палец и сказал дочери: «Звери лесные или степные должны жить в соответственных им местах, то есть в природных изначальных условиях». Маленькая Надя из этого высказывания поняла одно – жирненького сурка с теплой песочной шкуркой у нее никогда не будет...

«Надо спросить у Маши, что с ним потом стало, она уж большая была, должно, помнит,» – подумала Надя, а Любочка, наконец, разродилась определением.

– Твой Измайлов славный, но какой-то неэффективный!

Надя неожиданно разозлилась. В сущности, оценкам сестры, которая с самого раннего детства чутко и ревниво приглядывалась к миру, она доверяла едва ли не более, чем своим, зная за собой известную ограниченность взгляда. И в данном случае возразить ей было нечего. Но к чему это?! Что с этим делать? Да, Измайлов действительно неэффектен. Вот старший Гордеев был эффектен, не отнять, особенно когда напьется, нальется дурной кровью и примется реветь, ровно медведь в тайге. Митя Опалинский в молодости был эффектен, это нынче его пылью присыпало, да и Матвей Александрович тоже – раз взглянешь, после в кошмарах проснешься. В Андрее этого нет, все верно. Случайно взглянешь, отвернешься и не вспомнишь после. Неэффектен! А как он двое суток по холодной тайге полз, истекая кровью, как через адскую, непереносимую боль ей улыбался и шептал: «Не бойся, Наденька, не бойся, милая, делай, что надо...» Это как?!

Надя фыркнула и вышла, ничего более не сказав. Любочка презрительно усмехнулась ей вслед. Что с сестры возьмешь? Дикарка, простушка, даже замужество никуда ее не продвинуло. Невзрачный Измайлов, подобранный в тайге и удачно излеченный ее изуродованными грязной работой, но сильными и умелыми руками (очевидные достоинства сестры Любочка вполне признавала), вполне годится для ее героя. Исполать ей. Каждый сверчок знай свой шесток. «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним». Любочка с удовольствием взглянула на свои беленькие, изящные ручки с продолговатыми розовыми ноготками, мило улыбнулась своему отражению в зеркале и почти искренне пожелала сестре хорошо провести оставшееся до отъезда в Екатеринбург время.

Глава 7

В которой Вера Михайлова пишет письмо бывшей хозяйке и вспоминает о прошлом

1891 год от Р. Х., октября 5 числа, г. Егорьевск, Ишимского уезда, Тобольской губернии

Здравствуйте, любезная и дорогая Софья Павловна!

Пишет к вам известная вам Вера Михайлова, ваша бывшая горничная и должница во всем счастье и благополучии моей жизни. Во первых строках спешу сообщить, что здоровье мое и деток, слава Господу, хорошее. Матюша и Соня веселы, резвы и делают соответственно их возрасту изрядные успехи в науках. Матюша уже может по складам читать детские книжки, пишет печатными буквами записки, считает хотя и с ошибками, но споро. Подбирается уже к делению и умножению, и иногда верно. Соня же еще с прошлого года читает бегло и жадна до книг, даже таких, которые ее поре вроде бы не по ранжиру. По вечерам Матюша уж давно уснул, а она зажжет в головах свечу, и все разбирает чего-то. Я, однако, ей не препятствую, памятуя собственную неумную тягу к просвещению, каковая вместе с вашим радением и привела меня к нынешнему завидному, по изначальному чину, положению. Правильно ли я поступаю, касательно Сони, на ваш взгляд? Аглая Левонтьевна и Каденька меня за то корят, говорят, что дети мои почти не играют, и от переучивания у них может мозговая горячка случиться. Правда ли это? Я сама склонна полагать, что нет, так как ведь не насищем ей дано, а только по ее собственному хотению и стремлению. При том арифметика дается Соне куда хуже Матюши, и даже в пределах десятка она пользуется пальцами для вспоможения расчетов. Но я о том не печалюсь, и жду срока, так как сама научилась считать на пятнадцатом году, а читать и писать так и вовсе к двадцати.

Марфа Парфеновна по-прежнему захаживает к нам регулярно, и передает вам, Софья Павловна, любезный привет. А также Аглая Левонтьевна, Надежда Левонтьевна, Любовь Левонтьевна и мать их Каденька часто вас поминают и просят передать свою сердечную приязнь, как стану вам писать. Вот, передаю с удовольствием. Надежда Левонтьевна нынче в Егорьевске и уж попала в переплет. С ваших еще времен увлекаясь наукой врачевания, ходит она каждый год по весне и осени в тайгу, собирать какие-то потребные ее делу снадобья. В этом году обернулось такоже, но вот оказия – опять ехал на прииски инженер и опять на повозку разбойники напали. Инженера ранили тяжко, но он как-то от них уполз, и Наденька его как раз в тайге и подобрала и выходила. Она по обычаю молчит и толком не рассказывает, но были там какие-то ужасы вроде вырезывания пули ножом из живого человека и тому подобное. Зовут инженера Андрей Андреевич, а фамилия его – Измайлов. Я-то его еще в глаза не видала (да и чего ему ко мне являться, коли он к Опалинским нанялся), но Наденька после всей этой истории ходит и глядит как-то так, что мне за Ипполита Михайловича тревожно.

Вы в прошлом письме об господине Златовратском спрашивали. Иронию, явно в ваших словах присутствующую, я, каюсь, по глупости своей крестьянской не поняла, но отвечаю: занятия мои с Левонтием Макаровичем все продолжают. Мне оно уж скорее в маету, но он, кажется, привык и ждет, а я обидеть человека, который столько мне всего открыл, пока не решаюсь. Из латыни я теперь знаю чуть менее его, да только интерес ко всей этой исторической ветоши во мне поукас. Годы, должно быть, да и самой теперешней жизни для интересу довольно.

Передают вам также привет Илья, Роза и Самсон трактиричики. Дела их идут на процветание, Илья еще два года назад открыл новый трактир (не помню, писала ль вам), а теперь еще и гостиницу и мангазеею во флигелях. Теперь у нас в Егорьевске, стало быть, два трактира: «Луизиана» и «Калифорния». В мангазеею заправляют Варвара, младшая дочь Алеши, и Потапова Татьяна, бывшая невеста Пети, которая так замуж и не вышла. Хоть и появился еще один трактир, но Роза с Самсоном на прибыль не жалуются, стали еще толще и печалуются только об одном: Илья не хочет жениться, и в новом трактире нет хозяйки, только прислуга, а это – дело ль? О том годе Роза уж пыталась хитростью дело обернуть. Для старенького скрипача Якова, который еще с вашей поры в Егорьевске прижился и в Сорокино возвращаться не стал, привезла из той семьи молоденькую его правнучку – Рахиль, черноглазую и носатенькую, якобы за дедушкой ухаживать. Яков после открытия «Калифорнии» перебрался за Илей туда, и посейчас иногда играет по вечерам на скрипке на радость мастеровым и проезжим людям. Рахиль, само собой, при дедушке, и Розин расчет понятен. Да не тут-то было. Илья, как вы помните, ко всем без разбору ласков и мягок, но только желательного оборота события не получили, и бедная девочка Рахиль, отчаявшись в своей привлекательности (да еще и Роза на нее, должно быть, давила), даже пыталась от горя спичками травиться. От греха подальше Рахиль вернули в Сорокино, а Илья так холостым и живет, и все время и силы отдает расширению дела, проявляя в том недюжинную сноровку. Для начала он проехал по тракту едва ли не от Екатеринбурга до Тобольска и раздал взятки служащим почтовых станций, всего лишь за то, что они в разговорах с постояльцами, как бы между прочим, будут упоминать, что вот, дескать, в городке Егорьевске есть очень приличное и чистенькое заведение для проезжающих... На тракте он на трех верстах в обе стороны поставил огромные деревянные щиты, на которых сверху огромными буквами из жести прибито «Калифорния», а ниже написано и даже нарисовано (в том ему Варвара помогла) про комнаты, выпивку, горячую еду и даже музыкальные вечера. Оживление от такого новшества заметно сразу, и нынче комнаты для гостей в обоих трактирах почти никогда не пустуют. В мангазеею, кроме обычного ассортимента, Варвара своей волей соорудила странную торговлю: игрушки, да поделки из кости или камней от всяких инородцев, и ее собственного художественного изготовления, да одежда из мехов и кожи тех же инородческих покровов. Странно, но все это покупают охотно, особенно из тех, кто проездом по тракту останавливается. Алеша при мне все Варвару пытал: ну чего тебе неймется, чего не хватает? Денег много, скажи, сколько тебе надо, дам. А она ему: ничего мне не надо, хочу свое собственное дело иметь. А замуж тоже не хочет. Алеша, хоть он и не скажет никогда, но из-за

того переживает сильно. Дикая девка, совсем. Куда она в тайгу ходит, к кому? Людям в Егорьевске говорит: к шаману. Алеши их верования и обычай знает, сказал мне: врет она все. Пытался подговорить кого-то из своих проследить за ней, так она сама того выследила и – бревном по голове. Еле очухался потом, домой дополз. Большие никто не соглашается.

Последнее время зачастили к нам казаки. Не так, чтобы строем или под конкретное дело, но как-то так... ездят дозорами по трактам, заходят в тот же трактир или мангазею... вроде приучают к чему-то, или стерегут чего. Раньше-то у нас военного человека в городе днем с огнем не сыщешь. И исправник приезжал уже раз пять за последние две недели, о чем-то с Опалинскими толковал, на дальний, Лебяжский прииск ездил. Что это значит, разобрать пока не могу, но что-то значит непременно...

Теперь, когда я вам все свои дела обсказала, по чину и вопросы задать. Как здоровье вашего драгоценного сыночка Павлуши и мужа Петра Николаевича? Не хвораете ли сами? Как здоровье матушки вашей, Натальи Андреевны, сестричек и братьев, крошки-племянника? Закончили ли роман? Или, может, уж и напечатали? Так ведь не забудьте прислать-то. Сами понимаете, как меня любопытство гложет. Передали ли Григорию Павловичу мои поздравления с законным браком? Он меня, должно, и не помнит, а я-то его, как сейчас – такой резвунчик был, нашкодит, обидит кого, и тут же сам испугается, разом утешать несется, и все свое до крошки отдаст. Дай Бог им с молодой женой счастья, такоже и вам с Петром Николаевичем!

*На сем прощаюсь и остаюсь ваша покорная слуга
Вера Михайлова*

Вера отложила перо, потерла подушечками пальцев уставшие глаза и посмотрела за окно, туда, где чернела стена уже почти облетевшего леса. Кот Филимон, заметив, что хозяйка окончила дело, тяжело вспрыгнул на стол и осторожно потрогал лапой перо. Вера, не глядя, почесала его за ушами. Кот замурчал, потыкался ей усатой мордой в ладонь и отошел, лег на краю стола в позе египетского Сфинкса и тоже стал смотреть за окно.

Дети вместе с собаками ушли в лес за прихваченной морозцем рябиной, Алеша уехал в инородческие поселки по делам сетей и рыболовных песков, и Вера в кои-то веки была дома одна, если не считать Филимона. Оттого и взялась писать письмо к бывшей девочке-хозяйке, нынче проживающей в Петербурге. Впрочем, девочка давно уже выросла и стала... Какой? Кто разберет? Разве по письмам можно судить? Но уж изменилась-то с 16 до 24 лет – это точно. А она, Вера? Она изменилась за эти годы, прошедшие после трагической смерти инженера Печиного, Матвея Александровича, Матюши, единственного...?

Наверное, постарела? – неуверенно подумала Вера, не желая оборачиваться и глядеть в зеркало. Зеркало соврет, Матюша бы правду сказал... Чушь! Для Матюши она всегда осталась бы – самая красивая. Хоть когда, хоть какой... Да ведь и его люди чуть не страхолодом считали. А для Веры... Женщина вспомнила тягучие, безупречно нежные, упоительные ночи их короткой любви, его огромные сильные руки, бережные ласки, и тихо застонала, сжав руками виски.

Полтора года после смерти Матвея она вообще ни о чем не могла думать. Механически обихаживала родившегося сына и усыновленную сиротку Соню, которая осталась жива только благодаря инженеру. О чем-то разговаривала с бодрой Софи Домогатской и утомительно разнообразным семейством Златовратских, которые, несмотря на разницу в статях, почему-то все одинаково громко топали, входя и выходя. Единственной серьезной встряской в то время был день, когда увозили на каторгу осужденных за бунт, и в их числе Никанора... Вспомнив

горящие из-под спутанных косм глаза бывшего любовника, Вера поежилась. Да, может быть, именно после этого дня она и начала просыпаться. Обратно в жизнь.

Первым, кто сумел заставить ее делать необязательное, был, как это ни смешно, Левонтий Макарович Златовратский. Он явился с учебниками прямо к ней в дом, точнее в дом Матвея Александровича на прииске, в котором она жила после его смерти. Матюша мусолил сушку, сидя на полу. Соня куксилась и хныкала, потому что у нее с вечера пучило животик. Филимон лениво подбрасывал лапой сухой лист, невесть как попавший в комнату. Щенки дыбили загровки, почти беззвучно рычали и сверкали волчьими глазами. Вокруг тихо шумел лес и воскресный приисковый поселок – дымный, отчаянный, безнадежный, тупой и пьяный. Посреди всего этого Левонтий Макарович Златовратский со своей римской историей и учебниками под мышкой смотрелся просто шикарно. Вера смотрела на него обалдело и именно так и думала: «просто шикарно».

– Ну что ж, – вздохнув, сказала она наконец. – Будем заниматься, коли уж вы ради того такой конец проехали. Только давайте сперва чаю, что ли, выпьем.

Левонтий Макарович кивнул и положил учебники на письменный стол, за которым когда-то работал Матвей Александрович. Вера до соли закусил губу, цыкнула на собак и пошла ставить самовар.

Собаки легли в углу, но по-прежнему щерились и выражали всяческую готовность по любому, самомалейшему знаку хозяйки разорвать в мелкие клочки незваного гостя. Так же, как когда-то готова была разорвать саму Веру их мать – Баныши.

Баныши, огромная, косматая сука породы русский меделян, принадлежала инженеру, терпела рысьеобразного кота Филимона, но упорно не хотела делить внимание и любовь хозяина с какой-то, неизвестно откуда взявшейся женщиной. Ведь они всегда жили одни... Печинога добродушно посмеивался над собачьей ревностью, но Вера хорошо помнила смертельный янтарный блеск внимательных глаз Баныши, и то, как она следила за каждым ее движением.

После смерти Матвея Александровича Баныши ушла в тайгу. Летом ее видели в окрестностях поселка, в Светлозерье, на тракте, но чаще всего – около могилы инженера. К людям она не подходила, а пропитание себе, по-видимому, добывала охотой. К осени Баныши пропала окончательно, и Вера решила, что псина подохла-таки от тоски по хозяину. Иного врага, кроме тоски, для Баныши вообразить было трудно, так как она была крупнее и сильнее любого волка. В сущности, несмотря на разницу во взглядах и породе, Вера ее очень неплохо понимала, так как в то время сама была близка к тому же решению. Только ребенок Матвея в животе удерживал ее в этом мире.

Однажды в хмурый предзимний день она долго стояла перед могилой возлюбленного, тупо и молча глядя на немудреный букет из сосновых и бересклетовых ветвей, лежащий у основания креста. Огромный живот Веры выпирал вперед и мешал увидеть собственные ноги. Ей хотелось что-то сказать Матюше, а еще лучше что-то сделать для него, но слова не шли на ум, а дела... Что можно сделать для покойника?

Внезапно Вере показалось, что она слышит чей-то, вполне человеческий стон. Невзирая на все возможные опасности, так же тупо и отрешенно, как стояла у могилы, женщина тяжело затопала к кустам, окружавшим поселковое кладбище. Сажень в десяти от могилы мужа она наткнулась на истекающую кровью Баныши. Ее шкура на боках и спине была буквально разодрана в клочья. По прихваченной заморозком траве тянулся отчетливый кровавый след. Собака явно приползла сюда, чтобы умереть поближе к хозяину. Увидев Веру и узнав ее, Баныши приподняла огромную голову и тихо, бессильно зарычала.

Вера колебалась не больше минуты. Сама она вполне предоставила бы Баныши ее судьбе. Но Матвей никогда не поступил бы так. Он любил эту ужасную псину и, конечно, сделал бы все возможное, чтобы ее выходить. Следовательно, Вера должна теперь сделать так, как было бы приятно Матюше.

Из вывороченной ветром елочки Вера неспешно соорудила неуклюжую, но вполне пригодную к употреблению волокушу. Осторожно заволокла на нее собаку (Баньши скалила зубы, но более ничего не могла. Глаза ее закатывались от слабости, а огромные лапы сводили мелкие судороги) и привязала своим поясом и лентой, оторванной от подола. Потом поудобнее перехватила комель и двинулась в недалекий, но весьма тяжелый для женщины на сносях путь.

В избе инженера Вера пристроила Баньши на ее обычном месте, подстелив вместо выброшенной подстилки два старых одеяла. Как умела, промыла многочисленные раны собаки и смазала их человеческой мазью для ран, которая, четко надписанная, хранилась в аптечке болезненно аккуратного инженера.

Касательно того, что именно произошло с Баньши, у Веры практически не было никаких сомнений. Скорее всего, ее порвали сбившиеся в осеннюю стаю волки. Вспомнив, как когда-то, с подачи Матвея Александровича, она врала всем про волков, которые якобы напали на нее саму, Вера горько усмехнулась.

– Я соврала, а тебе, Баньши, досталось, – тихо сказала она. – Вот как, выходит, бывает.

Собака лежала в углу и не подавала никаких признаков жизни. Откуда-то спрыгнул Филимон, подошел к Баньши, внимательно осмотрел и обнюхал ее, и неожиданно стал заливать собачьи раны, фыркая и морщась, когда на язык попадала наложенная Верой мазь.

На следующее утро Баньши, по-прежнему не вставая, попила воды. На третий день вылакала две чашки бульона. Через четыре дня Вера, проснувшись на рассвете, увидела Баньши, сидящую у дверей. Собака слегка покачивалась от слабости, но явно хотела выйти.

– Опять уйдешь? – спросила Вера. – Ну что ж... – женщина с трудом поднялась и отворила дверь.

Баньши, шатаясь, спустилась с крыльца, сделала свои дела и снова вернулась в дом, пройдя мимо Веры так, как будто бы она была дополнительным дверным косяком. Вера усмехнулась и вернулась в кровать – досыпать.

Последующие дни Баньши ела едва ли не втрое больше обыкновенного. Вера варила ей огромный чугунок каши на мозговых костях и щедрой рукой добавляла туда куски говядины.

Довольно скоро стало ясно, что Баньши ждет щенков. Когда Вера впервые догадалась об этом, на ее лицо вползла сумрачная тяжелая улыбка, похожая на свежую кирпичную кладку.

– Ну вот, – сказала она прислушивающейся Баньши. – Мы с тобой – враги. Обе любили одного, а теперь обе – в тягости. А его – нет. Смешно, правда?

Баньши тихонько и тоскливо заскулила, как будто бы сумела разобрать Верины слова.

Через месяц после Вериних родов Баньши родила трех щенков. Один получился неудачным и к вечеру умер, а двое других вполне бодро пищали, двигали лапами и сосали молоко из разбухших материнских сосков. К этому моменту Вера перечитала почти все любимые книги Матвея Александровича (исключая, естественно, книги по специальности), и, соблюдая традицию, назвала выживших щенков именами из ирландской мифологии – Бран и Медб. Когда у головастых щенков открылись глаза, они показались Вере очень хорошенькими, и она стала с чувственным удовольствием ласкать их бархатные тельца. Баньши, против ожиданий, не противилась такой интимности, кормила детей, худела и тосковала.

Иногда к Вере заходили две поселковые бабы – помочь по хозяйству. Обе отводили от щенков глаза и испуганно крестились. Еще не окончательно пришедшая в себя после тяжелых родов Вера сначала ничего не замечала, а после спросила о причине.

– Разве ж вы не видите, Вера Артемьевна! – воскликнула та, что помоложе. – Это же волки! Да какие огромные!

Вера повнимательнее пригляделась к щенкам и вынуждена была признать правоту бабы: на Баньши щенки походили слабо. Их треугольные уши, острые мордочки и крутые лбы действительно напоминали серых лесных разбойников...

Однажды к утру Вера проснулась от непонятного ощущения. Справа от нее на широкой лежанке лежал и сопел туго спеленатый Матюша. А слева... слева протискивались под одеяло, стремясь забраться поближе к живому теплу, Бран и Медб. Но как? Щенки были еще слишком малы и неуклюжи, чтобы самостоятельно забраться на лежанку... Да еще какой-то непонятный сквозняк...

– Баныши?! – Вера стремительно села в кровати.

Собаки в избе не было. Дверь в комнату оставалась полуоткрытой и медленно колыбалась, поскрипывая. Филимон неподвижным египетским изваянием сидел у порога и смотрел куда-то в темноту.

Все было ясно до тошноты, но Вера никак не могла поверить в реальность произошедшего. Матвей Александрович всегда разговаривал со своими зверями, как с людьми, но Вера была склонна видеть в этом всего лишь его причуду. И вот теперь...

Баныши ушла в тайгу умирать, не в силах больше выносить снедавшей ее тоски по хозяину. Уходя, она положила своих щенков Вере на кровать в знак того, что она доверяет и оставляет их ей. Баныши не может откинуть крюк, на который Вера запирает входную дверь. Но крюк может откинуть ловкая и сильная лапа Филимона. Если, конечно, матерый котище сам этого захочет. Следовательно, собака каким-то образом объяснила коту, что и зачем он должен сделать. Филимон выполнил ее просьбу, и теперь сидит на пороге в печали и навсегда прощается со своей давней приятельницей...

Слезы сами собой потекли по Вериным щекам. Вместо того, чтобы встать и запереть дверь, она по очереди прижала к себе осиротевших щенков и поцеловала их лобастые мордочки. Что-то почуяв, недовольно захныкал проснувшийся Матюша...

Когда Брану и Медб исполнилось по девять месяцев, и они, весело играя, бегали за Верой по поселку, вслед им стали креститься даже мужики. У обоих псов была внешность отца и стати матери, то есть каждый из них имел типичную волчью внешность и был почти в полтора раза больше обычного лесного волка. Почти сразу же молва нарекла их оборотнями. Кое-кто даже осторожно поговаривал о том, что в одного из щенков вселилась душа Матвея Александровича, но таких безответственных болтунов тут же окорачивали свои же. Ври, ври, да не завирайся!

Баныши больше никто не видел ни живой, ни мертвой.

Глава 8

В которой Вера продолжает вспоминать, а старый остяк Алеша снова становится мужчиной

В процессе занятий латинской грамматикой и пыльной римской историей Вера как-то окончательно поняла, что она, в отличие от давно опочивших римских героев, ораторов и полководцев, покуда жива и будет волею Господа нашего (Вера была глубоко верующим человеком, хотя к ее православию и примешивались откровенно языческие мотивы) жить дальше.

В деньгах Вера не нуждалась. Все имущество и немалые денежные накопления инженера Печиного перешли к ней и сыну по заблаговременно составленному Матвеем Александровичем завещанию. Но снова осознавшая себя живой Вера была и оставалась человеком деятельным. Ее странно активный для урожденной крестьянки мозг требовал пищи. Римской истории, Матюшиных книг и забот о детях и щенках ей хватило еще на год.

Во время печальнопамятного бунта приисковые рабочие сожгли питейную и разграбили бакалейную лавку. Держателями обеих лавок на момент бунта были трое инородцев, считавшихся племянниками остяка Алеши, правой руки Гордеева. Никто и никогда не видел ни Алешиных братьев, ни сестер, но племянников у него было как зверей в тайге. Все они были пристроены Алешей к делу, и все, как полагали, отстегивали заботливому дядюшке соответствующую прибыли копеечку. Водка в лавке всегда была странно дорогой, пряники пахли рыбой, а кредиты за продукты съедали почти все, что удавалось заработать в сезон. Раскосых, с лицами, как растрескавшиеся глиняные миски, племянников никто не жаловал, а страх, который большинство жителей Егорьевска, прииска и даже Выселок испытывали перед иезуитски ласковым и хищным Алешей, на них не распространялся. Один из трех содержавших лавки инородцев во время бунта погиб, другой, избитый, с трудом оправился и остался заикой. Третий, перепугавшись до кровавого поноса от близкого дыхания не то грозной остяцкой Хосэдем, не то вполне христианской старухи с косой (никто и никогда толком не мог понять, во что и каким образом верят остяк Алеша, его дочери и многочисленные племянники), даже думать не желал о возвращении на прииск.

Поразмыслив, Вера решила воспользоваться сложившейся ситуацией. К живому и жадному до знаний уму, который отпустил ей Бог, особых талантов к предпринимательству и торговому делу не прилагалось, и Вера Михайлова это прекрасно понимала. Но следовало себя занять. К тому же перед глазами у нее стоял недавний пример бывшей хозяйки, девочки Софи Домогатской. Не имея средств на обратный проезд в Россию, Софи не пожелала взять деньги у своей бывшей горничной и организовала в Егорьевске первую за всю его историю танцевальную площадку и школу танцев. За лето искомая сумма была набрана с перебором. К тому же новый смысл жизни обрел старый скрипач-еврей из села Большое Сорокино, дедушка Яков, а многие мещанские и даже мастеровые детишки научились вполне сносно двигаться под музыку.

Если смогла Софи, едва справившая семнадцатилетие, то неужели не сможет она, Вера, которая на десять лет старше, и на сто лет опытнее своей смышленной, но в сущности еще по детски наивной хозяйки?

Минуя все промежуточные инстанции в администрации и самих хозяев прииска – Петю и Машу Гордеевых, Вера навела кое-какие справки, пошептала несколько вечеров с молодой остячкой, прибиравшейся в здании приисковой конторы, и направилась напрямик к Алеше.

Коверкая русский язык больше обычного, непрерывно и слащаво улыбаясь, Алеша высказал обоснованные сомнения в целесообразности задуманного Верой.

– Мужики, однако, бояться! – сказал он. – Четыре племянника посылал, всех мало-мало вон погнали. Бежали, в ноги падали, тряслись, как лист на осине: бей-ругай, Алеша, не посылай на прииск. Придут, однако, проклятые, ничего не купят и смеются: ты еще здесь, косорылый-косоглазый? Ну жди, скоро тебя убивать мало-мало придем! Русские тоже не идут, бояться. Проклят, однако, говорят, прииск. Зачем тебе ента морока? Кушать-одеться есть? Копейка на деток есть? Вот и сиди спокойно.

– Не хочу сидеть, – флегматично, едва ли не зевнув Алеше в лицо, ответила Вера и поднялась со стула, сразу став почти на голову выше низкорослого инородца. – Хочу, мало-мало, попробовать. С приисковыми договорюсь, однако... –

И без улыбки добавила несколько фраз на остякском языке, из которых следовало, что он, Алеша, не пожалеет, связавшись с Верой Михайловой. Прибыли будет не менее, чем от племянников.

Мятого и битого жизнью Алешу трудно было чем-нибудь не только поразить, но и, как сказал бы он сам, даже мало-мало удивить. Но теперь, неосведомленный о Вериной феноменальной языковой одаренности, он был сражен наповал. Впрочем, чести ради следует заметить, что впечатление на пожилого остяка произвела не только та легкость, с которой странная женщина, не то вдова, не то молодуха, говорит на его родном языке, но и ее необычные для самоедских женщин стати, и даже зрелый и чистый бабий запах, который буквально видимым для Алеши образом (как и все таежные жители, он имел чрезвычайно чувствительное обоняние) клубился вокруг ее высокогрудой и крутобедрой фигуры.

Ударили по рукам. Согласно обсудили порядок и подробности. В процессе обстоятельной беседы Алеша продолжал удивляться возможности *так* говорить с русской бабой. На какой-то момент он даже бросил кривляться и паясничать и заговорил по-русски вполне правильно и серьезно, так, как позволял себе говорить лишь с Иваном Гордеевым, да и то не всегда.

С местечковой шустростью прознав про Верины намерения и начинания, явился к ней какой-то самодеятельный «комитет» от приисковых рабочих. Глядя со злобной опаской, потребовали, чтобы цены в возрождающихся лавках устанавливались «по справедливости». Сумрачные, мятые облики членов «комитета» отчего-то напомнили бывшей крестьянке Вере невсхожие семена. Пряча усмешку, Вера невзначай положила руки на загривки дрожащих от возбуждения Брана и Медб (в дом редко заходили чужие и теперь волко-собаки не знали, как правильно поступить: то ли смирить себя в угоду хозяйке, то ли броситься и немедленно разорвать незваных пришельцев, дурно пахнущих страхом, агрессией и давно не стиранной одеждой). «Комитету» Вера не сказала ни «да», ни «нет», и те ушли, несолоно хлебавши.

Торговать в лавках Вера по-первости наняла покалечившихся на работах инвалидов, и тем сразу повернула мнение поселка в свою пользу. Инвалиды были нищи и запойны, к честной и спорой торговле непригодны вовсе. Однако, «милость к падшим» в Сибири была распространена мало, среди хозяев вообще никак, и потому ценилась наособицу. «Неужели я ошибся?» – думал Алеша, вспоминая желтый волчий блеск в глазах Веры и ее странных собак. Скоро стало ясно, что не ошибся.

После пары месяцев торговли, Вера тихонько, под каким-то невидным предлогом выкинула инвалидов прочь, и наняла двух грамотных немолодых мужиков, мало пьющих и тяготившихся работой в раскопе, молодого ханта, не числящего Алешу в своих родственниках, и ядреную русскую бабу-вдову. Пертурбации поселок заметил, но парадоксальным образом одобрил. После Вера вела регулярную и таинственную для непосвященных работу со своим «персоналом». Цены в лавках постепенно образовались не меньше Алешиных, но обхождение с рабочими было неизменно вежливым, в солонине не было мух, а прилавков, столы и полы в питейной лавке тщательно мылись со щелоком. Появилась даже особая услуга: упившихся до положения риз молодой хант доставлял домой на специальной подводе, сдавал родным, помогая уложить «кормильца», и оставлял чекушку на утреннюю опохмелку. Во сколько обошлась им эта услуга,

рабочие узнавали много позже, по записям в кредитной книжке, но злобились не слишком, так как во время текущего эпизода все были довольны. Бабам не надо было караулить хозяина, чтоб не замерз под забором или не ушел в тайгу; мужик, пропив все деньги и просыпаясь с трещащей башкой, наверняка знал, что лекарство уже доставлено и стоит рядом с лежанкой.

Прибыль Вера с Алешей делили «по справедливости», которой так и не добился непутевый рабочий «комитет». Ни тот, ни другая в деньгах особо не нуждались и играли «на интерес». В годовщину начала торгового предприятия Вера вызвала Алешу для переговоров, касающихся расширения дела.

Разговор повела по-самоедски неспешно, на родном для Алеши языке. Ей это было уже нетрудно (за пару лет жизни в поселке Вера научилась сносно говорить на обиходные темы едва ли не на полудюжине местных наречий), а остяку – приятно. Обсудили погоду, охоту, поели свежее испеченных шанег, выпили чаю из пузатого самовара. Алеша охотно и сноровисто сюсюкал с детьми. Соня дичилась, а бойкий Матюша сразу залез к остяку на колени и дергал диковинные амулеты, подвешенные на цепочках и тесемках. Что-то лопотал на своем языке, указывая пальчиком. Судя по интонации, спрашивал: «Что это?»

– На что вам, Алеша? – спросила и Вера, указывая на амулеты, объект Матюшиного интереса. – Или вправду черную веру пуще христовой почитаете?

– Образ такой, давно, – охотно объяснил Алеша, чувствуя какую-то забытую, молодую радость оттого, что с Верой не надо притворяться. – Глупый, дикий самоед Алеша. Только что из тайги выбежал, а зубах шишка, на шее – заячья лапа. Что с него взять, чего его бояться, чего о нем думать? Обмануть его – просто, как воды выпить... Пока разберут, да спохватятся, ан – уже поздно назад повернуть. Обскакал глупый самоед...

– Это давно было, – сказала Вера. – А теперь?

– Правда твоя, – согласился Алеша. – Теперь уж того не нужно, но знаешь – привык. Приросло, как вторая кожа. Не оторвать. Да и зачем? Так доживу...

Когда оба взмокли, допив последнюю чашку чаю, Вера уложила детей, а Алеша, умильно улыбаясь, спел им остякскую колыбельную. Голос у поющего Алеши был сухим и трескучим, и, на слух Веры, напоминал более не человеческую речь, а беличье стрекотание.

После заговорили и о делах.

– Хочу организовать выездную торговлю, – заявила Вера. – Сласти, бакалея, скобяные товары. В Кузятино Нюшка готова ездить, у нее сватья там живет. К самоедам – ханта пошлем, а на Выселки – Ерофеича. Он сам оттуда родом, небось, не обидят.

– Прибыль, однако, не от скобяных товаров будет? Так? – лукаво подмигнул Алеша.

Вера подмигивать не умела, потому просто моргнула в ответ обоими глазами.

– Зачем тебе? – уже серьезно глядя, выспрашивал дальше.

– Для разнообразия, – честно ответила Вера. – Все – дело. Не учить же греческий язык...

– Чего-о?! – вылутился Алеша.

– Левонтий Макарович Златовратский намерен предлагать.

– Верблюдка! – брезгливо скривился Алеша.

– Что это такое – «верблюдка»? И какое к Левонтию Макаровичу отношение?

– Знаешь, на Березуевских разливах осенью летают. Такие длинные, тощие, все время брюшком трясут и лапками чешутся? Вот, Вася Полушкин мне как-то объяснил, что по-русски они смешно называются – верблюдки. Это твой Златовратский и есть...

Вера удивленно подняла бровь. Для всегда невозмутимого и лояльного на словах инородца это было прямо-таки вопиющее проявление чувств. Но каких? Подумав пару мгновений над этим вопросом, Вера вновь вернулась к разговору о перспективах торговли в Светлозерье. Как и ее бывшая хозяйка, она не слишком интересовалась человеческими чувствами, как таковыми. Поступки, которые из них проистекают, всегда занимали ее гораздо больше.

Спустя еще без малого год Алеша сам напросился в гости. Принес гостинцы подросшим детям, не без опаски, с разрешения хозяйки огладил кинувшихся к нему собак.

– Дела неплохо идут, Вера Артемьевна?

– Грех жаловаться, только Бога гневить... – откликнулась Вера, задумчиво глядя на плоскую и смуглую, словно закопченную физиономию Алеши.

– А охота мало-мало пожаловаться? – усмехнулся Алеша, о чем-то догадавшись.

– Я ж не из тех, кто жалиться умеет, – Вера покачала головой. – А только... пусто как-то...

– Детки, торговля? – глядя с непонятной требовательностью, спросил Алеша.

– Детки, это свет, конечно, – согласилась Вера. – Да что ж – двое... Нас у матери одиннадцать было, да хозяйство все... А у меня... прислуга придет, приберет, сварит. К еде я без пристрастия, каши с молоком люблю, да овощ пареный... Торговля... деньги к деньгам. Иногда думаю: еще, что ль, в завод чего взять? Да сообразить не могу. Ум у меня на такое не очень повернут... Книги Матюшины, считай, все перечитала. Даже по горному делу и то... вечерами, с тоски...

Вера замолчала. Молчал и Алеша, не мог решиться на что-то, крутил в ловких сухих пальцах подвешенные амулеты.

– Говорите уж, зачем пришли, – первой не выдержала Вера. – Вижу, что не чаю попить.

– Ладно, – Алеша мотнул круглой башкой и перешел на русский язык. О серьезных делах он всегда говорил по-русски. – Хочу тебе сказать: иди, Вера Михайлова, ко мне... в дело. Глядел на тебя долго и понял: ты баба умная до жути, и язык за зубами держать умеешь. Того мне и надо.

– А что ж за дело-то такое? – вздохнула Вера, по видимости не удивившись. – Вы, вроде, при Гордееве были, теперь – при Опалинских. Хозяева прииска меня... ну, скажем, не слишком жалуют. А дела ваши с самоедами – чего ж мне, русской бабе, туда? Кто меня слушать станет?

– Ты меня послушай, – согласно вздохнул Алеша. – А после решать станешь, однако.

После смерти Ивана Гордеева Алеша и вправду остался при его детях – Петре Ивановиче и Марье Ивановне. Помогал чем мог, давал советы, в делах держал линию покойного друга. Когда Марья Ивановна спустя положенный для памяти отца год обвенчалась с Дмитрием Михайловичем Опалинским, Алеша был тому только рад – на Петю надежд особых нет, так хоть мужская рука в деле появится.

Ситуация вокруг Егорьевска была непростой и действовать в ней следовало споро и решительно. Пески на всех трех приисках – Мариинском, Лебяжьем и Новом постепенно истощались. Рабочие волновались за будущее. Крестьянствовать за последние пятнадцать лет они разучились, а другой работы в окрестностях Егорьевска не предвиделось. Золото в здешнем краю было редкостью, а уходить с семьями на Урал или Алтай по силам далеко не каждому. Политические ссыльные, беглые и объявившаяся странная банда Дубравина мутили воду и распускали самые дикие слухи, которым, естественно, верили влет, как самой доподлинной правде. Например, одним из самых устойчивых слухов была легенда о том, что кто-то (непонятно кто – кандидатуры менялись в зависимости от колебания рабочих симпатий и антипатий) припрятал и не отдает народу приснопамятную желтую тетрадь погибшего инженера Печиного. А в этой тетради якобы было прописано, где золото искать, и все расчеты, как сделать так, чтобы рабочему люду жилось, как у Христа за пазухой. «Что-то вроде романа господина Чернышевского», – говорил Дмитрий Михайлович, узнав о нынешнем гипотетическом содержании пропавшей тетради. Опровергать и комментировать подобные слухи было совершенно бесполезно именно ввиду их полной абсурдности.

Один из приезжих инженеров, Валентин Егорович, до своей нелепой гибели успел провести некие анализы и изыскания, и утверждал, что бросать раскоп и закрывать прииски рано, их можно еще некоторое время разрабатывать, если слегка изменить технологию добычи

и экономические основания для заключения контракта. Алеша серьезно потолковал с инженером, и оба пришли к согласному заключению, что самым разумным будет на последние два-пять лет (как пойдет) эксплуатации приисков нанять каторжников, содержание которых обходится дешевле, а производительность можно увеличить почти в два раза, если слегка перестроить машину, добавив еще одну бочку и изменив систему вашгердов. Здесь тоже можно было обойтись без особых затрат, так как остроумные чертежи для потребных усовершенствований отыскивались в конторе среди бумаг покойного Печиноги, а нужные металлические детали вполне могли изготовить смышленные Кузятинские кузнецы, которые славились от Челябинска до Омска своим умением из разрозненных деталей старых сельскохозяйственных машин изготавливать новые и даже применять их к местным условиям.

С согласным планом переустройства и расчетами затрат и прибылей вышли на владельцев приисков. Машенька о ту пору была озабочена организацией в приисковом поселке двухклассной школы и излечением тамошнего фельдшера от беспробудного пьянства, Петя готовился к охоте на медведя-шатуну, объявившегося в окрестностях Светлозерья, и уже насмерть задравшего ушедшего в лес за хворостом парнишку. Инженер Дмитрий Михайлович хлопал красивыми глазами и толковал о том, что использование каторжников и заранее планируемая жестокая их эксплуатация, это как-то «не по-человечески», и с рабочими, де, лучше договариваться «по-хорошему», ничего от них не скрывать, честно описать возникшие трудности и бороться с ними вместе и согласно.

Промаявшись три часа в подобных разговорах, разошлись. Валентин Егорович, обескуражено морщась, заявил Алеше, что подобных глупостей он не слыхал даже от Коронина и другого егорьевского ссыльного – Веревкина. Те, дескать, готовы признать за крестьянами или уж рабочим классом грядущую силу, но полагают, что на первых этапах пути к светлому будущему их все-таки должно вести и направлять образованное сословие. Слушая все это, Алеша только хмыкал, потому что сроду ничего не понимал в классах и политических программах, зато очень хорошо разбирался в прибылях и умел использовать темную часть человеческой натуры (про светлую часть умный остяк знал, но полагал ее вещью совершенно в делах бесполезной и созданной богами для украшения в целом беспросветной человеческой жизни). «Ивана нет, а с новыми хозяевами каши не сварить!» – вот вывод, который сделал для себя Алеша.

После он пытался отдельно поговорить с Машенькой, которую знал буквально с рождения и почитал чуть ли не своей воспитанницей.

– Пойми, для дела надо, чтобы все туго в узел закрутилось, – втолковывал он ей, волнуясь и забыв про свою привычку коверкать русский язык. – Отец твой жестким человеком был, но сейчас, когда пески на исходе, и этого не достанет. Чтобы все по уму сделать, внакладе не остаться и новых бунтов не поиметь, надо еще жестче дело ставить. Чтобы пикнуть никто не смел, выработку повысить, всех штрафами задавить, а чуть что – полиция да казаки. Наш исправник Семен Саввич Овсянников ситуацию правильно понимает, сам волнуется, и всегда навстречу пойдет. При таком обороте событий те, кто поумнее да посильнее духом, доработают сезон, да и двинутся восвояси, лучшей жизни искать. Эти не пропадут и без вашего радения. Самых никчемных поувольнять к бесу, как Матвей Александрович хотел. Им ничего не поможет, и тащить их смысла нету. Останутся те, которые ни рыба, ни мясо, опасности от них никакой, а на освободившиеся места как раз каторжников и найдем. Здесь и прибыль пойдет...

Машенька слушала остяка не побледнев даже, а посерев. Белые локоны, свисавшие на землистое лицо, слиплись от выступившего злого пота.

– Ты, Алеша, все на деньги меряешь, – наконец, тихо сказала она. – А о людях и вовсе думать не можешь. Правильно Петя про тебя говорил... А я не верила...

– А ты скажи, на что мне еще мерить?! – не выдержав, закричал Алеша. – Если не на деньги, то – на что?!

– На любовь... Как Христос учил, – прошелестела воспитанница, фанатично блеснув глазами. Ее напрягшееся лицо на мгновение туго обтянуло кожей, и оно вдруг до жути напомнило Алеше костистое лицо Марфы, и одновременно – лицо Ивана в гробу.

Ничего более не сказав, Алеша вскочил, опрокинув стул, и буквально выбежал из дома, который когда-то был ему почти родным.

Сбежав с крыльца, он обернулся и молча плюнул на землю около порога. Этот жест означал для сдержанного остяка выражение крайнего, граничного бешенства.

Спустя неделю после беседы с Алешей инженера Валентина Егоровича задавило бревном в раскопе.

– «Не мир вам принес, но – меч», – задумчиво сказала внимательно слушавшая Алешу Вера.

– Что? – встrepенулся погрузившийся в воспоминания остяк.

– Христос так говорил, – объяснила Вера. – А про любовь там мало. Я все читала. Очень внимательно, старалась понять. Хотя отец Михаил не велит, чтобы самим думать. Говорит: искушение. Отчего? – увидев, что Алеша вовсе не расположен к богословским рассуждениям, Вера сменила тему. – И что ж теперь? Вы, как я поняла, с ними не желаете больше?

– Не могу, – устало перекрестив руки, сказал Алеша. – Там все рухнет вот-вот, а я ничего изменить не в силах. Тяжко мне. Иногда помстится: вдруг Иван-то... ну, вдруг он оттуда глядит и головой качает: что ж ты, Алеша, подвел меня...

– Почему ж вы себя-то корите? Что вы в горном деле? Вроде он на Опалинского ставил?

– Опалинский – темный человек. Наш шаман сказал, с душой у него непорядок какой-то, как будто бы раздвоилась душа-то...

– Может, соврал? – усмехнулась Вера. – Боги за всех, но люди-то грешны. Вон, наши попы тоже врут почему зря...

– Шаману врать нельзя, путь закроется, – серьезно отвечал Алеша.

– Тогда, значит, правду сказал, – Вера через свечу взглянула на Алешу когда-то ореховыми, а за последние годы еще высветлившимися, почти желтыми глазами. Зрачки были совсем маленькие, с булавочную головку. В радужке плавали желтые льдинки и еще какая-то, неотчетливая жуть.

– Ты знаешь про него что-то? – спросил Алеша.

– Знаю, но не скажу, – кивнула Вера.

– Почему?

– Есть причина и вам ее знать не надобно.

Алеша тоже кивнул, сразу поняв: действительно не скажет. И действительно, есть причина. Важная для Веры, а прочее – не в строку.

Еще помолчали. Но не в напряг, а согласно, как бы собирая силы для рывка. Соня захныкала во сне, Вера отошла к ней, дала попить, огладила жидкие светлые волосенки, прижалась темными губами к розовому темечку. Укрыла поудобнее обоих детей. Снова вернулась, села на стул, прямая, спокойная, ожидающая.

– Давай жить и дело делать вместе! – тихо сказал Алеша, сжав кулаки. – К себе зову или к тебе приду, как пожелаешь.

– Ого! – Вера улыбнулась, обдала не холодом даже, а какой-то морозной, тут же подтаявшей взвесью. – Это – новость! Давай, однако, подробнее, – она перешла на «ты» и Алеша увидел в этом добрый знак. Ее прежнее назойливое «выканье», в котором остяк небезосновательно видел не столько уважение от бывшей прислуги, сколько поддержание дистанции, раздражало его.

– Чего ж подробней? – Алеша откровенно растерялся и заговорил торопливо и невнятно. – Понять, однако, легко. Твоя торговля прикрытие будет. Кому дело – баба мало-мало скобяным товаром да бакалеей торгует, ну, водка приторговывает немножко. Что за беда? Китай пути есть. Золото есть. Русский начальник обмануть просто. Петя и Маша с Дмитрием хозяева так себе, все знают. Пески истощились, рабочие ворчат, контракты нарушают, прибыль маленькая, кто удивляться будет? Алешу сто раз проверят, тебе никто проверять не станет...

– То есть, ты предлагаешь воровать или скупать за водку золото на приисках и, минуя государственные лаборатории, по уже налаженным каналам возить его в Китай? А прикрытием для этого будет моя разъездная торговля? – подумав, сформулировала Вера. – А каторги не боишься? Или, в случае чего, на каторгу я пойду?

– Нет, Вера, нет! – горячо возразил Алеша и даже замахал руками от прихлынувших чувств. – Обмана к тебе у меня нету. Я год думал, два, пока предложить решился. Пути, каналы, как ты говоришь, – они откуда, однако? Еще с Ивановых времен мало-мало остались. Понимаешь теперь? Маша и Петя не знают, совсем нет. Иван их в стороне держал. И Опалинский не знает. Я сначала думал, ему сказать, но после поглядел, какой-то он... пуганный, однако...

– Есть с чего, – усмехнулась Вера.

– Ну вот. Я и затихорился пока. А теперь вижу, приискам все одно конец... Что ж выгоду-то последнюю упускать...

– А скажи, Алеша, – задумчиво спросила Вера. – Матюша... Матвей Александрович про все эти китайские дела... знал?

– Ни боже мой! – Алеша по-кержацки перекрестился одной рукой, а другой схватился за самый страшный по виду и, должно быть, самый сильный амулет. – Иван Матвея на добыче держал, а про сбыт старался сам все под контролем иметь. Знал, что Печиного кристальной честности человек, и опасался, даже мне про то говорил. Узнает инженер, как себя поведет? Не сдал бы полиции. Ни боже мой! Были у него, кроме меня, по паре доверенных человечков на каждом прииске... Кто-то и посейчас там, ждет указаний...

– Ладно, про золото я все поняла, – вздохнула Вера. – И возмущение из себя, наподобие Марьи Ивановны, корчить не стану. Мне до Матюшиной высоты далеко, он святой человек был, не от этого мира, а мы – грешники. Ежели все еще при Иване Парфеновиче налажено, так отчего, как ты всегда говоришь, свою копеечку не заработать? Теперь ты мне про нас объясни. Что ж ты меня, в любовницы, что ли, зовешь? Или жениться на мне вздумал? Ты ведь вдовеешь, как я знаю...

– Я вдов уже двенадцать лет, – подтвердил Алеша. – Дочери выросли, отец не нужен. Сыновей нет. Ты тоже мало-мало вдова. Коли вместе держаться станем, кое в чем я тебе и детишкам, однако, подмогнуть смогу. От Ишима до Тобольска какой-никакой авторитет у Алешы есть. Уважают...

– Скажи точнее, боятся... – улыбнулась Вера.

– Так ты не хочешь? Или... тоже боишься? – скрипуче спросил Алеша.

– Да нет, я уж давно вообще никого не боюсь, – равнодушно произнесла Вера. – Просто подумать надо, взвесить... С тобой под одно ярмо идти – это ведь не в горелки поиграть... А как же с детишками станет? – Вера на миг прикрыла оба глаза, что, как уже знал Алеша, заменяло у нее подмигивание.

– Что – с детишками? – не понял он. – Я ж сказал: детей твоих как своих растить буду, и наследством не обижу. Они мне уж сейчас милы: и Матюша, и Соня-сиротка...

– Да я не про тех детей, – открыто рассмеялась Вера. – Я про таких... раскосеньких... – Вера пальцами оттянула углы глаз и показала, какие именно могут получиться дети. – Этих мы с тобой куда денем?

Казалось, что Алеша с его глинисто-смуглой кожей не может покраснеть в принципе. Но теперь он вдруг как-то диковинно изменил цвет и выражение лица, вмиг сделавшись похо-

жим на старый, дочерна закопченный кирпич, из которого построены фабрики в Петербурге. Вера наблюдала за метаморфозами остяковой физиономии с неприкрытым изумлением.

– Напрасно, однако, беспокоишься, – проскрипел Алеша.

– Это отчего же? – с некоторым даже вызовом спросила Вера. – Мне, если хочешь знать, еще и тридцати лет не исполнилось.

– Я... не в тебе дело, – слова давались Алеше с таким трудом, что Вера просто физически ощутила его напряжение и сама напряглась, сжала кулаки, со стуком сдвинула колени. – Во мне... Я тебя в дело зову, и жить, чтоб не одиноко, и деткам поддержка... А то... детей у меня более быть не может... и вообще... ничего... Старый я, Ивана-покойника на год старше... шестой десяток, однако...

– Ну... – добродушно усмехнулась Вера. – Это ж разве для мужчины возраст! Гордеев-то покойник, как я помню, Настасью-бобылку имел... И сына Ванечку...

– Сказал: однако, не могу! Значит, так и есть! – трескучий голос Алеши пустил молодого петуха.

– Да ладно тебе, ладно! – Вера примирительно помахала рукой, так ничего и не уразумев, но понимая, что лучше теперь не налегать на скользкую тему. Как-нибудь потом само выяснится. – Не можешь, значит, не можешь. Давай-ка еще самовар поставим и обсудим то, что можно. Есть такое?

– Есть, есть, однако, и не мало-мало, а много-много, – Алеша оттаял и улыбнулся. Как будто кирпич помыли тряпочкой с мылом, и сразу стали видны все его трещины и иные следы, которые оставило на нем время.

Дети приняли Алешу легко и сразу. Он умел понравиться им, смешно переваливаясь, ходил по избе на корточках вровень с их ростом, строил страшные и потешные рожи, качал обоих на ноге и разрешал ездить на себе верхом, изображая по заказу то Сивку-Бурку Вещую каурку, то медведя, то кабана, а то – ужасного лесного духа, который хочет утащить отчаянно визжащую Соню в свою берлогу, а Матюша, размахивая деревянным мечом, должен ее спасти. Мрачноватая по природе Вера, человек решительно неигровой, была рада возне детей с Алешей, так как умом понимала, что им, не по возрасту хорошо говорящим и много знающим, не достает как раз вот этого – визга, писка и шумной, бестолковой на первый взгляд игры.

Бран и Медб вели себя куда сдержанней. По совету Веры Алеша не пытался фамильярничать с ними и исподволь приучал полуволков к себе, саморучно наполняя их миски кашей, выпуская их гулять и тихо и ласково разговаривая с ними в свободные минуты. Постепенно звери привыкли к его присутствию и больше не поднимали губы и не морщили носы, когда он касался детей или приближался к Вере.

Поселок, прииск, Выселки и самоедские становища, прознав новость, затихли в испуге. От объединения колдовски спокойной, ничем непробиваемой Веры и жадного до денег, жестокого и безжалостного остяка ждали невесть каких, и потому особенно страшных напастей для приискового люда и окрестных самоедов.

Старшая дочь Алеши, Анна, промолчала, тупя взгляд. Темноликая хохотушка Варвара, дернув плечом и нимало не стесняясь присутствия Веры, спросила, не снимая с лица вечной широкой улыбки:

– А не боишься, отец, что она тебя, того, схарчит при случае?

– Теперь не боюсь, – серьезно ответил дочери Алеша.

На исходе второй недели мирного, почти семейного житья, Вера к приезду Алеши истопила баню, добавив в пар ежевичного кваса и кедрового пахучего масла в светильник. По русскому обычаю на первый пар ходили мужчины, но Вера легко уговорила Алешу пустить ее помыть детей. Когда дети были вымыты, их, распаренных, завернутых в льняные простыни, со слипающимися глазами, на руках отнесли в избу. Вера шла с распущенными волосами, в прилипшей к телу длинной рубаше, не скрывающей ни вершка ее зрелых, обширных форм.

Алеша старался на нее не смотреть и быстро убежал в баню, хотя вообще-то, как и большинство инородцев, пристрастия русских ко столь странному времяпрепровождению не понимал совершенно. Мысль, что все это многосложное, почти ритуальное действие затевается лишь для того, чтобы отмыться от грязи, казалась ему совершенно абсурдной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.